

ЯНОШ
ДЕТВАИ

**ОРУЖИЕ
И ЛЮДИ**

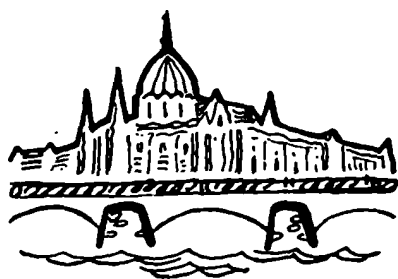




**ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
СССР**



ЯНОШ ДЕТВАИ
**ОРУЖИЕ
И ЛЮДИ**
Р О М А Н



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1966

Gyertvai Janos
FEGYVEREK ÉS EMBEREK

Zrinyi klado

BUDAPEST

Я. Детван
ОРУЖИЕ И ЛЮДИ

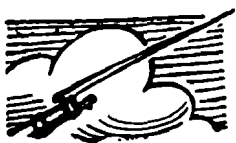
Роман

(Авторизованный перевод с венгерского)

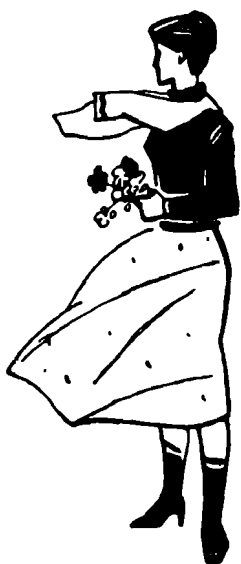
Автобиографический роман венгерского писателя-коммуниста Яноша Детван воскрешает славные страницы Венгерской Советской Республики.

Детван не пришлось выдумывать героев для своей книги — все они реальные люди, взятые из самой жизни. На страницах романа читатель встретится с видными деятелями венгерского и международного рабочего движения — Белой Куном, Тибором Самуэли, Йене Ландлером, Аурелом Штримфельдом и с многими безыменными героями бурных исторических событий 1919 года в Венгрии. Все они, от главнокомандующего венгерской Красной Армией до рядового солдата революции, мужественно сражались против сил внутренней и внешней контрреволюции за свободную и независимую Венгрию, за построение первого в истории венгерского народа государства рабочих и крестьян.

Роман «Оружие и люди» — волнующее произведение о героическом прошлом братского венгерского народа.



ЗАГОВОРИЛО
оружие





ТЕЛЕНОК, ЗЕМЛЯ И НАУКИ

Спрятавшись за сруб колодца, вырытого посреди нашего двора, я внимательно прислушивался к разговору отца с господином кантором.

Хотелось узнать, о чем же они говорят. Может быть, опять о том, посылать меня в Ясварош учиться в гимназию или нет. Затаив дыхание, я с напряжением следил, не начнет ли и на этот раз старый кантор Секула уговаривать отца обязательно отдать меня в гимназию: у меня, мол, светлая голова, я первый ученик в классе; здесь же я наверняка пропаду ни за что, для крестьянской работы слишком слаб, и хорошего бондаря из меня, конечно, не выйдет. В такие минуты отец еще ниже наклонял голову, долго молчал, а затем, глубоко вздохнув, говорил, что у него самого эта гимназия из головы не выходит ни днем ни ночью, он и сам давно думает, как бы вытащить меня из нищеты, в которой они с матерью прожили всю свою жизнь. Но учение требует денег, а где их взять бедному человеку?

Сделав вид, что играю за колодцем, я поковырял палкой песок у самого сруба, а сам начал так вертеть головой, чтобы лучше слышать отца и кантора, что у меня даже шея заболела. Как и всегда, они разговаривали стоя около козел, на которых лежало толстое бревно. Опершись о всаженный в бревно большой топор и наклонив голову, отец внимательно слушал господина

Секулу, который, поставив одну ногу на бревно, облокотился на колено, подперев рукой подбородок.

Из своего укрытия я не мог разобрать всех слов даже тогда, когда высовывал голову из-за сруба, хотя господин кантор говорил громко, так как отец плохо слышал. Я уже даже пожалел, что спрятался за колодец: ведь можно было спокойно залезть на тутовое дерево, росшее рядом, и притаиться в его густых ветвях. Оттуда все было бы хорошо слышно.

Когда господин кантор говорил особенно громко, я отчетливо разбирал каждое его слово:

— Ну, Янош, пора решать, что ты будешь делать с сыном. Скоро парень твой кончит шестой класс, и тебе решать, останется ли он здесь, в этой нищете, и пропадет ни за грош или поедет в город, поступит в гимназию и будет счастлив.

Сердце у меня радостно забилося: значит, говорят обо мне. Интересно, что ответит отец? Моя судьба будет зависеть от его слов. Интересно, нашел отец мое письмо, которое я тайком написал ему и незаметно положил на верстак в мастерской? Я уже не раз так писал ему. Матери я по секрету сказал, что пишу отцу письма, в которых уговариваю его отдать меня в гимназию. Мне очень хотелось, чтобы и мать прочитала эти письма, но она не умела ни читать, ни писать. В своем последнем письме я просил отца, несмотря ни на что, послать меня в город учиться в гимназии. Я торжественно обещал ему, что сам буду зарабатывать себе на хлеб и платить деньги за учебу, так что ему не придется продавать ни теленка, ни землю.

Напрасно я ждал, что ответит отец господину учителю. Он долго молчал, еще ниже наклонив голову и ошупывая рукой топорище, на которое опирался. В наступившей тишине было слышно, как трезвонили колокола соседней церквушки.

И снова до меня донеслись слова господина кантора:

— Знаешь, Янош, на земле для человека нет большего сокровища, чем знания и наука. Если бы мне в свое время удалось окончить университет! Ради знаний можно пойти на любые жертвы. Ты сам, Янош, не раз говорил, что очень хотел бы, чтобы твой сын стал ученым человеком.

Отец долго молчал, а потом сказал:

— Для этого дела нужно иметь целое состояние. Ни теленок с коровой, ни три хольда земли, которые мы с трудом сколотили, тут не помогут. Возьмите Андраша Тана. У него шестнадцать хольдов земли, а сына своего он и не собирается отдавать в гимназию.

После небольшой паузы отец добавил:

— И все же болит у меня сердце за сына... Вот и сегодня написал он мне вот это письмо.

Отец вынул из кармана мое письмо и протянул его господину учителю.

Ага, значит, отец нашел мое письмо! Как хорошо, что он показывает его господину учителю! Может быть, это поможет.

Господин учитель взял письмо в руки и, еще не начиная читать его, сказал отцу:

— Я уже говорил с Таной, советовал ему отдать Андраша в гимназию. Тана сказал, что они, видимо, все же отдадут его.

Я видел, как отец поднял голову, словно освободившись от тяжелых дум. И раньше, когда отец с матерью, лежа в постели, разговаривали перед сном, а я, проснувшись, потихоньку подслушивал их, отец всегда облегченно вздыхал, когда мать говорила ему, что Тана с женой подумали-подумали и все же решили отдать своего сына в гимназию. Правда, после этого они раза три-четыре меняли решение, боясь за судьбу своего участка, говорили, как им дорог в хозяйстве каждый работник; не поденщика же нанимать на пахоту, в пору жатвы или когда нужно унавоживать землю. В такие минуты у отца пропадало всякое желание говорить о гимназии. Сейчас же, услышав, что Тана снова решил отдать сына учиться, отец сразу же повеселел.

— Это верно, что ради науки можно пожертвовать всем,— решительно сказал он, отвечая господину учителю на его слова о пользе знаний и наук. Но своего окончательного решения отец не высказал и на этот раз.

Я с еще большим нетерпением ждал, о чем же будет дальше говорить отец с господином кантором. В этот момент во двор через маленькую калитку вбежал Андраш Тана, вместе с которым я собирался поступать в гимназию. Я обрадовался его приходу. Он громко позвал меня, перебежал через двор и, найдя за колодцем, радостно зашептал, что родители согласились послать его

учиться в Ясварош. Я разволновался и предложил Андрашу пойти после обеда к озерам и поиграть на острове в Робинзона и Пятницу.

Разговор отца и господина учителя прервали грохот повозки, громкие ругательства и хлопанье кнута, доносившиеся с улицы. Это управляющий Длинноногий в своем кабриолете возвращался из имения Бинора. Не дай бог в это время повстречаться с ним на дороге: набросится с руганью и на взрослого, и на ребенка. На взрослых он обычно кричал так: «Ты что, скотина, разве не видишь, кто едет?! А ну, прочь с дороги!» А детей избивал кнутом до крови. Вот и сейчас его ругательства разносились по всей деревне. Мы с Андрашем выскочили из-за колодца и помчались к забору, чтобы посмотреть, на кого же орет Длинноногий. В ту же минуту мы увидели, как кнут управляющего засвистел над головами двух мальчишек, которые играли посреди дороги и выскочили чуть ли не из-под колес кабриолета. Рябое и веснушчатое лицо Длинноногого побагровело больше обычного, а ругательства, которые он извергал, были одно непристойнее другого. Доехав до перекрестка, он повернул к зданию сельской управы, откуда доносился шум. Говорили, что там собрались косари, нанимавшиеся на поденщину к помещику Бинору, чтобы подписать договор, который даст им возможность заработать себе на кусок хлеба.

Вообще-то господина Бинора звали не совсем так. Однажды я видел на дощечке, где помещик записал, сколько повозок отремонтировал мой отец, его настоящую фамилию — Брюнауэр. Однако в деревне все звали его господином Бинором. На другой дощечке я прочитал настоящую фамилию Длинноногого. Как-то отец привез сдавать ему выполненный заказ. После перечисления сделанных им колес, тяг, оглобель и дуг стояла подпись «Нейвиртшланг». Такую фамилию у нас в селе не мог выговорить даже господин кантор, поэтому все звали управляющего просто Някиглабом, то есть Длинноногим, а поскольку у него и в самом деле были очень длинные ноги, то это прозвище так за ним и осталось. Руки у управляющего были длинные, как тяги, а красные, заросшие рыжей щетиной ладони походили на лопату, на которой хозяйки суют в печку хлеб. Однажды, будучи во дворе управы, мы с Андрашем заглянули в окошко

сельского нотариуса. Увидев нас, Длинноногий так хлопнул рукой по столу, что мы в страхе убежали. Но он стучал по столу и тогда, когда разговаривал с нанявшимися к помещику поденщиками или косарями. Ходили слухи, что в помещичьей усадьбе он беспощадно бьет кнутом батраков.

Я шепнул Андрашу, что, как только мы поступим в гимназию и уедем из села, нам уже не нужно будет бояться Длинноногого. Особенно сильно я стал бояться управляющего после того, как он однажды натравил на меня и отца огромных охотничьих псов.

Между тем со стороны управы продолжал доноситься сильный шум. Прислушавшись, господин кантор заметил отцу, что в управе, видимо, случилось что-то серьезное, так как даже отсюда слышны громкие ругательства Длинноногого и его крики, которыми он звал на помощь жандармов. Господин кантор быстро попрощался с отцом, которого явно не интересовал шум, доносившийся из здания управы (он как ни в чем не бывало продолжал обтесывать топором толстое бревно). Мы же с Андрашем сломя голову побежали к сельской управе.

Когда мы примчались туда, во дворе управы и на улице было много народу. Мы прильнули к забору, наблюдая через щели за происходящим во дворе. Там уже стояло человек шесть жандармов с карабинами перед толпой косарей, которых возглавлял Имре Бейтош. Ветер тревожно шевелил перья на киверах жандармов, а солнце угрожающе поблескивало на штыках их карабинов. Однажды я видел, как жандармы избивали людей во дворе корчмы. С тех пор я до ужаса боялся их. Перед косарями стоял Длинноногий со старшим нотариусом и еще какой-то незнакомый господин (это был сам господин старший судья). Управляющий кричал на косарей, а больше всего на Имре Бейтоша. В этот момент кто-то схватил меня за шиворот и оттолкнул от щели, через которую я наблюдал за событиями, происходящими во дворе управы. Это был верзила Кука, самый здоровый парень нашей школы, который постоянно лупил меня, из-за чего я очень боялся его. Вместе с Кукой был еще один парень, Пишта Турза. Дав мне несколько тумаков, ребята заявили, что эта щель самая лучшая во всем заборе и теперь они сами будут смотреть из нее. Андраша Тану они не тронули, так как считали своим.

Верзила Кука не любил меня за то, что я был лучшим учеником школы, в то время как сам он и говорить-то как следует не умел, тявкал словно собачонка и в каждом классе сидел по два года.

Когда меня толкнули на землю и отколотили, я испугался и хотел бежать домой, но Андраш позвал меня к себе, предложив смотреть во двор управы вдвоем через его щель.

Стоявшие рядом с нами женщины заохали, боясь, что жандармы заколют Имре Бейтоша штыками. А наша соседка, тетушка Мари Беде, даже утверждала, что жандармы хотят поубивать всех косарей за то, что тринадцать самых смелых из них отказались убирать урожай в помещичьей усадьбе.

— Этот бесстыжий Длинноногий готов содрать с бедняг семь шкур! И как только карающая рука господ не уничтожит этого негодяя! — негодовала тетушка Пико.

Когда мы снова прильнули к щели, то увидели, как Длинноногий во всю глотку орал на Имре Бейтоша, который спокойно стоял впереди косарей и смело смотрел на господ.

— Значит, бастовать задумали? Я вам покажу забастовку, грязные оборванцы! Если не понимаете доброго слова, мы вас законом утихомирим, а если нужно, и силой оружия усмирим, чтобы другим не повадно было! — орал управляющий.

— У нас тоже есть оружие, милостивый господин! — спокойно, но твердо ответил ему Имре.

— Ах, вы еще угрожаете вооруженным бунтом?! Какое такое оружие есть у вас? — не унимался Длинноногий.

— Я уже говорил милостивому господину, что наше оружие — забастовка! Мы не можем допустить, чтобы наши семьи умирали с голоду. Мы имеем право бастовать, раз у нас нет права ни на землю, ни на кусок хлеба.

— Право? — еще больше ожесточаясь, кричал Длинноногий. — Я вам покажу право!

— Тогда, милостивый господин, нам не останется ничего другого, как взяться за вилы и косы!

Повернувшись к господину старшему судье, Длинноногий сказал:

— Теперь все ясно: налицо открытый вооруженный мятеж против закона, бога, короля и родины!

Старший судья сделал знак жандармам, и они в ту же минуту стали приближаться к косарям. Поденщики начали пятиться назад. Жандармский унтер-офицер хотел было схватить Бейтоша за руку, но тут вперед неожиданно выскочил Янчи Вак, стоявший рядом с Имре, и энергичным движением выхватил карабин из рук унтера. Никто и опомниться не успел, как несколько жандармов выстрелили из своих карабинов, и Янчи Вак, словно подкошенный, свалился мертвым на землю. С перепугу на миг воцарилась тишина, которую нарушил пронзительный крик женщин. Во дворе и на улице около забора началась неразбериха, давка. Увидев, как жандармы надели наручники на Имре Бейтоша и других косарей, я с трясущимися от страха коленями сломя голову побежал домой. Сердце билось у меня где-то в горле.

Я ВХОЖУ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Наконец наступил последний день занятий в школе. Я закончил шестой класс начальной школы. Учиться дальше в деревне было негде, но в скором времени мне предстоял переезд в большой город. Я уже чувствовал себя почти совсем взрослым. В глубине души гордился тем, что господин учитель как-то во всеуслышание заявил: «Все шесть лет он был лучшим учеником». В первый класс я поступил, уже умея бегло читать и писать: отец научил меня этому длинными зимними вечерами. Он всегда говорил мне, что на свете нет ничего дороже знаний. Уже тогда он учил меня грамоте в надежде, что когда-нибудь мне удастся попасть в гимназию.

Когда я окончил школу, голова была полна самых радужных надежд. Уже несколько недель подряд я мечтал о поступлении в гимназию. Я и с Андрашем Таной поэтому сдружился. Мы всегда играли вдвоем. Куда бы ни пошли — всегда вместе. Все ребята завидовали нам, хотя и дразнили за то, что мы с Андрашем будем носить, как все гимназисты, брюки со штрипками. Если кто-нибудь из них встречал нас на улице или в школе, то всегда старался подставить ногу. А здоровенный Кука, увидев меня, налетал как коршун и начинал колотить,

громко икая и лая, словно собачонка. Я очень боялся его и потому часто втайне молился, чтобы поскорее пришел тот день, когда я наконец уеду из села.

В последний день занятий в школе господин Секула, видимо для того, чтобы еще больше приободрить меня и показать всему классу мои знания, вызвал меня к доске и сказал, обращаясь к ребятам:

— Сейчас я схожу к господину приходскому священнику, а урок вместо меня будет вести Яни Коллар. Если кто будет баловаться или не слушаться его, смотрите — плохо тому будет, когда я вернусь!

Господин Секула и раньше не раз уходил из класса. Особенно часто он оставлял нас одних весной, когда хотел полить в саду свои цветы. Но вместо себя господин учитель меня еще ни разу не оставлял, да еще так торжественно.

Взволнованный, я стоял перед классом. Когда же господин кантор попросил меня встать к его столу, я совсем перепугался. Поднимаясь на кафедру, чуть было не упал. Уголком глаз покосился на класс, чувствуя, что сейчас Кука и все его сторонники ненавидят меня больше обычного. Кука ехидно улыбался, растянув рот до самых ушей. Заикаясь, он вполголоса начал лаять. Ребята заулыбались, подталкивая друг друга ногами под столами и кивая в мою сторону. Я с надеждой ловил взгляд Таны, рассчитывая найти в нем поддержку, но, встретившись с ним, увидел, что он и сам боится, как бы вместе со мной не попало и ему. Тогда я разыскал глазами Шарику Гоби, сидевшую во втором ряду. Ее тоже нередко колотили ребята, и мы часто утешали друг друга. Настоящая фамилия Шарики была не Гоби, а Блау. У отца Шарики была небольшая лавка на улице около церкви. Все звали их Гоби, а Шарику дразнили в школе «Шари Гоби» или «еврейка Шари». Поймав девочку где-нибудь на улице, ребята начинали бить ее и громко нараспев кричать: «Еврейка!» Когда же ребята тузили меня, то на всю улицу орали: «Сын глухого Коллара!» Мне доставалось от ребят очень часто. Так моя печальная судьба свела меня с Шарикой, поэтому мы всегда помогали друг другу. Вот почему и сейчас я старался поймать взгляд Шарики. Увидев смотрящие на меня глаза девочки, в которых можно было прочесть поддержку и гордость, я очень обрадовался. Шарика явно горди-

лась мной; радовалась, что, возможно, со мной и ей будет лучше, и надеялась на то, что, может быть, теперь ребята не осмелятся больше обижать нас.

Уходя из класса, господин учитель написал на доске пример, который нам предстояло решить до его прихода, а мне нужно было присматривать за ребятами. Еще раз пригрозив нам и буркнув: «Сидите как следует», господин Секула удалился.

Сесть на стул господина учителя у меня так и не хватило духу. Я неподвижно стоял на кафедре и смотрел на ребят. На какое-то время в классе воцарилась тишина. Большинство учеников склонилось над тетрадками. Но это продолжалось недолго. Как только фигура господина учителя промелькнула под окном, Кука бросил свой карандаш на тетрадку и, заикаясь, закричал:

— Я... уже... ре-шил!.. Я... уже... ре-шил!

И словно по сигналу Куки его друзья захлопали тетрадками по столу и закричали:

— Я тоже решил!.. И я решил!..

А Вендель Хорват, правая рука Куки, захохотал и крикнул мне:

— Ну ты, знаменитый господин учитель, посмотри-ка, если отважишься, правильно ли я решил пример!

Я знал, что Вендель нарочно хочет подозвать меня к своему столу, чтобы ударить. Дрожа от страха, я ждал, что же будет дальше.

Неожиданно Кука, как сумасшедший, заорал и, схватив свою тетрадь, бросил ее мне. Потом на кафедру полетели его книги и пенал. Товарищи Куки тотчас же последовали его примеру, и через минуту в классе поднялся невообразимый гвалт. Кука встал и направился к кафедре. По выражению его лица я понял, что сейчас он набросится на меня и начнет колотить.

Вдруг я услышал крик Шарики, с ужасом следившей за происходящим в классе. Вендель Хорват одним прыжком подскочил к девочке и так ударил ее кулаком, что она свалилась под стол. Я не помня себя выскочил из-за кафедры и бросился на помощь Шарике, но не успел сделать и нескольких шагов, как Кука подставил мне ножку и уже готов был прыгнуть на меня, как дверь в класс отворилась и на пороге появился господин учитель. Ученики сломя голову бросились на свои места. Кука тоже помчался на место, но господин учитель схватил его за

руку и потащил к кафедре. Вытащив из ящика стола короткую камышовую палочку, которой он обычно наказывал самых непослушных учеников, господин учитель крикнул, обращаясь к Куке:

— Ну ты, разбойник, подставляй руки!

Кука вытянул руки, но всякий раз, когда господин учитель замахивался палочкой, хватал ее. Это страшно рассердило господина учителя, и он начал по-настоящему бить Куку. Потом приказал ему идти на место.

В классе воцарилась мертвая тишина. Я поспешил сесть на место, со страхом думая о том, что со мной будет, когда я пойду домой.

Успокоившись, господин учитель еще немного пожурил Куку и его сообщников, сказав, что вообще он не любит прибегать к палке, но с такими негодями, как Кука, иначе поступать нельзя. Господин Секула долго говорил нам о том, что вот мы окончили шестой класс и вступаем в самостоятельную жизнь, где каждый должен быть честным человеком. В заключение мы хором спели «Воззвание». Как только господин учитель вышел из класса, все хлынули на улицу. Мы с Шарикой вышли последними, надеясь избежать тем самым мести Куки и его товарищей.

Прежде чем выйти из дверей школы, я осмотрелся и, никого не увидев, махнул Шарике рукой, чтобы она шла за мной. Но стоило нам очутиться на улице, как Кука и его друзья, выскочив из-за забора, бросились на нас. Удары посыпались на меня со всех сторон, и я даже не видел, что стало с Шарикой. Чуть-чуть приоткрыв глаза, я увидел темные фигуры ребят, колотящих меня по спине и голове. Глаза у Куки горели ненавистью. Дикий крик и улюлюканье нападающих заглушали все остальные звуки. Мне было больно, но болело не только тело, но и душа. И, быть может, не столько от побоев, сколько от чувства беспомощности. Во мне жило только одно желание — бежать отсюда куда-нибудь подальше, хоть на край света.

Такое же желание я прочел и в глазах Шарики. Вскоре Кука и его друзья ушли. Мы лежали на земле и долго не могли даже пошевелиться. Шарика от боли рыдала навзрыд. Потом я с трудом поднялся на ноги, подошел к девочке и, не говоря ни слова, погладил ее по голове и помог встать. Я взял Шарiku за руку, и мы медленно пошли рядом.

И вот наконец наступило преддверие долгожданного дня. Вечером к нам зашла тетушка Тана и сказала матери, что они с мужем все-таки раздумали отдавать своего Андраша в гимназию. Позавчера они были в Ясвароше и расспросили там знающих людей, в том числе сторожа, живущего в каморке у ворот гимназии, дорого ли обойдется учение, если они пришлют в гимназию своего сына из Болдогкаты. И сторож, и все остальные заявили, что учение недешево обходится даже тем, кто живет в городе, а те, кто присылает детей из провинции, должны платить и за квартиру, и за питание, а ведь это деньги немалые.

Когда тетушка Тана ушла, мать подбежала ко мне, обняла и, чуть не плача, начала причитать: вот уеду я от них, и она, может быть, никогда не увидит меня больше и не узнает, что случилось со мной в этом большом мире. Я чувствовал, что и мать начала колебаться, хотя передо мной она делала вид, что ничего не случилось. Но я видел, что она очень волнуется. Меня же пугала даже мысль, что меня могут не послать учиться в город. Я знал, что мать пойдет сейчас к отцу в мастерскую и расскажет ему о решении Танов, и я как бы невзначай стал крутиться возле мастерской.

Выслушав новость, отец положил рубанок на верстак и, взяв полную горсть стружек, начал ссыпать их. Так они с матерью и не говорили об этом до тех пор, пока не легли спать. Мои сестренки Мари и Эстер тоже ничего не знали о решении родителей. Обе они любили меня и очень хотели, чтобы я поехал в город учиться. Я долго лежал в кровати с открытыми глазами и, глядя в темноту, прислушивался к разговору отца с матерью.

Из их осторожного шепота я понял далеко не все. Разобрал только, что они говорили о теленке, о корове, а больше всего о земле. Был момент, когда мать громко заплакала. Потом, сдерживая рыдания, сказала:

— Продать теленка, корову, может, даже землю? А с нами-то что же будет?

Услышав это, заворочались в своих кроватках Мари и Эстер. Значит, они тоже подслушивали.

— Будь что будет! — наконец решительно заявил отец. — Теперь я от своего слова не отступлюсь. Парню нужно учиться! Продадим теленка, раз нужно!

Меня охватило невыразимое чувство радости. Совсем по-другому прореагировали на слова отца Мари и Эстер. Неожиданно обе они подозрительно засопели, а через минуту разразились громким плачем. Мать испуганно спросила их, почему они плачут. Сестренки сквозь слезы объяснили, что им очень жаль нашего теленка. Не выдержав, заплакала и мать, а отец громко завздыхал. Тут и я захныкал. Вся семья оплакивала теленка. Один лишь я плакал не столько от жалости, сколько от радости.

Так прошла моя последняя ночь в родном доме. Когда всем стало ясно, что нам все равно уже не заснуть, родители встали и начали собирать меня в далекий путь. Мать сложила мои вещички в мешок. Наконец я простился с матерью и сестренками. Отец забросил себе на плечи мои пожитки, и мы вышли из дому. Было уже за полночь. Как это ни странно, но мне было не тяжело расставаться с домом. Скорее всего, во мне появилось чувство легкости и свободы.

Нас встретила ночная темень. Я не попрощался ни с деревней, ни со знакомыми. Единственное, о ком я жалел, так это о Шарике.

НА РАССВЕТЕ И ДНЕМ

Мы шли по середине дороги, чтобы не попасть в какую-нибудь яму. По обе стороны дороги тянулись густые посадки деревьев, от которых становилось еще темней. Я шел, крепко сжимая руку отца, и еще теснее прижимался к нему, когда то справа, то слева от нас появлялись загадочные тени. Мысли мои были поглощены новым, таинственным миром, навстречу которому мы шли. Отец, видимо, тоже думал о моем будущем. Я чувствовал это по тому, как часто бились жилки на его мозолистых руках. Каждый раз, когда я боязливо вздрагивал при виде какой-нибудь страшной тени, он покровительственно прижимал меня к себе.

— Не бойся, это деревья, а вон там кусты, — успокаивал он меня.

— А это не злые духи крадутся за нами? — со страхом спрашивал я.

— Нет! Таких вообще не бывает.

— А Флориан Турза, когда зимой по вечерам приходил к нам, всегда рассказывал о злых духах.

И я, казалось, вновь слышал страшные рассказы дядюшки Флориана, от которых по спине начинали бегать мурашки. А тетушка Панка обычно говорила: «Ай, Флори, брось, не рассказывай ты про эти страсти, а то нас сейчас падучая хватит!» Но дядюшка Флориан расхотелся еще больше и божился, что привидения действительно существуют и живут на кладбище. А ровно в полночь все они собираются на холме, под которым живет злой дух, «король» всех привидений. У него есть там страшный подземный замок, такой же, как и у господина Бинора. В полночь злой дух спускается на землю, и тогда все привидения начинают танцевать вокруг холма. Танцуют они до тех пор, пока злой дух не пошлет их мучить людей. Богатых привидения не обижают: у них одна вера. Эти самые привидения и заманили Верочку Кокаи в соленое озеро, где продержали до первых петухов. А утром Верочку нашли в озере мертвой. На берегу же остались огромные, как лопаты, следы призраков.

Вспомнив об этих страшных рассказах, я задрожал как в лихорадке.

— Ой! Пойдем быстрее! Пойдем! — заторопил я отца.

Когда мы свернули на дорогу, ведущую в Ясварош, деревья по сторонам стали еще гуще, а тени, отбрасываемые ими, — еще причудливее и страшнее. Вдруг мне показалось, что навстречу нам несутся собаки господина Бинора, которых однажды натравил на меня в его имении сам Длинноногий.

— Папа, папа, собаки! — закричал я в страхе и обхватил колени отца.

— Что ты, глупый! Это тени от кустов.

Я успокоился.

— Не бойся, сынок, ничего на свете, пока идешь по честному пути. Всю жизнь борись за правду. А если все же будешь чего-то бояться, подойди к этому самому месту поближе, посмотри хорошенько — и страх как рукой снимет. Если же злой человек встанет на твоём пути, разозлился на него как следует!

И отец рассказал мне, как однажды, будучи еще молодым, вместе с товарищем бродил он по дорогам Германии. Шли они через густой лес. Вдруг откуда ни возьмись волк. Оружия у них никакого не было, только в руках у каждого по хорошей палке, которые они вырезали, чтобы идти было удобнее. Встали они тогда друг к другу спиной

и стали отбиваться от волка палками. Но волк все же набросился на отца. Тогда отец схватил хищника за горло, а в этот момент товарищ отца навалился на серого сзади, и так вдвоем они задушили серого разбойника. Меня мороз пробирал по коже, когда отец рассказывал эту историю, но я уверял себя в том, что никогда в жизни ничего не буду бояться, даже волков. Потом отец сказал, что встречаются люди, которые страшнее любого волка. Среди мастеров, у которых отцу приходилось работать в молодости, попадались люди хуже волков. Они готовы были содрать с человека семь шкур.

Рассказы отца так успокоили меня, что причудливые тени деревьев, падавшие на дорогу, уже не казались мне злыми собаками. Мне сразу стало легко. В душе я решил всегда неотступно следовать совету отца: смело смотреть в глаза любой опасности. В голове у меня кружились радостные мысли. Я представлял себе, каким смелым стану, как буду идти по жизни...

Разыгравшееся воображение перенесло меня на поле боя, и хотя на меня обрушились сразу все злые привидения деревни, громадные псы из поместья Бинора, все жандармы и даже Кука, всех их я сокрушил огромным мечом истины. Торжествуя, я вернулся в деревню, к людям, вошел во двор управы и сказал, обращаясь к Имре Бейтошу:

— Люди, вы свободны!

Меня встретили раскатистым «ура», как самого смелого героя...

Мы молча шли по тихой дороге. Шум наших шагов поглощал песок. Впереди вырисовывалась группа деревьев и густой кустарник.

Скоро сквозь листву кустарника и деревьев стали проглядывать бледные серые пятна, которые становились все светлее и светлее, потом стали бледно-розовыми. Рассветало.

Край неба на востоке становился светлее, раздаваясь в ширину и поднимаясь вверх. Пурпурный рассвет распростерся над миром. Мое детское сердце тянулось к этому рассвету и новой, неведомой мне жизни. Прошло совсем немного времени, и неожиданно сотни и сотни огненных лучей брызнули на востоке, край неба стал кроваво-красным, а из-за горизонта медленно выкатился огненный диск солнца.

Перед нами раскинулся город, залитый солнечным светом. Купола и шпили церквей пронизали пелену утреннего тумана и горели на солнце, сверкая золотом крестов, купающихся в солнечном свете. Ниже их — зеленые кроны деревьев, нестройные ряды крыш. И все это погружено в какой-то праздничный, огненный свет.

— Это волшебный город? — спросил я отца.

— Нет, сынок, это Ясварош, куда мы идем.

— И в таком красивом городе я буду жить? — с радостью спросил я.

Отец промолчал.

Когда мы подошли к городу, пурпурное золото рассвета стало бледнеть. Золотые луковицы церквей медленно тускнели, будто утро похитило с просыпающейся жизни пурпурное покрывало, сотканное из света, и задушило рассвет. С крон деревьев исчез пурпурный ореол, а только что освещенные солнцем придорожные кусты, казавшиеся волшебными, протягивали во все стороны свои пыльные, колючие ветки. В сердце мое незаметно прокрадась грусть, и я почувствовал усталость от бессонной ночи и долгой ходьбы. С разочарованием стал смотреть на город, который казался мне уже серым. Мы шли по какой-то улице и скоро вышли на центральную площадь.

— Вон там, рядом с собором, дом приходского священника, а вон там — большой магазин, а за ним — городская управа, — объяснял мне отец, — а на другой стороне площади — большая гостиница. Вот она, твоя гимназия, а вон там, видишь, в конце площади, большое трехэтажное здание — это банк. Дальше такие же домишки, какие и в нашей деревне есть.

По площади уже расхаживали прохожие, проносились пролетки и телеги, поднимавшие облака пыли.

В самом центре площади выстроился целый ряд ларьков и магазинчиков, между которыми сновали мужчины и женщины в пестрых платьях. Площадь окутывал неугомонный шум голосов, становившихся все громче и громче.

Это был рынок.

Еще никогда в жизни я не видел столько людей в одном месте. Мне казалось, что вся площадь бешено вращается вокруг невидимой сатанинской оси. У меня закружилась голова.

— Это и есть город? — спросил я отца, испуганно прижимаясь к нему.

Отец ничего не ответил и только крепче сжал мою руку.

Неожиданно, неизвестно откуда появившись, сквозь толпу стали пробираться какие-то люди в синей форме, высоких шапках и с саблями на боку.

— А это кто такие?

— Полицейские, — ответил отец и потащил меня к тротуару.

— Полицейские... Это как у нас жандармы, которые надели на Имре Бейтоша наручники? — испуганно спросил я.

— Да. Дай бог тебе с ними никогда не встречаться!

Вдруг во всех церквах зазвонили колокола, разлившись над городом свой трезвон, который был совсем не таким, как у нас в деревне, — более глубоким и грозным.

Я очень устал и потому спросил, когда же мы придем в гимназию.

— Сначала пойдем на квартиру, где ты жить будешь, — объяснил отец. — А это на другом конце города.

Хозяина дома, в котором мне предстояло жить, звали Палом Генцем. По профессии он был портным. С ним отец познакомился давно, во время странствий по Германии, когда был еще парнем.

В доме Генца нас уже ждали, так как за несколько недель до этого отец был в городе и обо всем договорился с хозяином. Приняли нас хорошо. Показали комнату, где я буду жить вместе с подмастерьем, который совсем недавно был еще учеником и теперь остался у Генца. Значит, крыша у меня над головой есть. Продукты мне будут привозить из дому: яйца, масло, если будет, то и курочку, а когда заколют поросенка, то и мясца. Отец еще раз напомнил об этом Генцу и велел мне величать его господином Генцем.

В тот день я сильно устал, но от волнения мне было не до отдыха. К тому же отец, прежде чем вернуться в деревню, должен был записать меня в гимназию.

В ГИМНАЗИИ

С бьющимся от волнения сердцем пошел я с отцом в гимназию. По дороге беспрестанно повторял про себя это магическое слово «гимназия», которое впервые услышал от старого деревенского учителя. Я твердо решил запомни-

пать всё, чему меня будут учить в гимназии, чтобы мне не было стыдно ни перед учителем, ни перед отцом.

Когда мы подошли к зданию гимназии, я с тревогой посмотрел на трехэтажное здание. Сколько же загадочных тайн кроется в нем! Огромное здание произвело на меня сильное впечатление, однако люди, входившие и выходившие через большие ворота гимназии, пугали меня. С виду это были важные господа: мужчины в дорогих костюмах и цилиндрах, женщины в шелковых юбках и шляпах с широкими полями, украшенными крупными перьями. А лица у всех такие красивые, будто они не живые, а нарисованные. Дети тоже были одеты по-праздничному: в коротких штанишках, в чулках, на ногах черные или желтые ботиночки. У девочек в волосах были красивые пестрые банты. Перед зданием гимназии стояло много пролеток и кабриолетов.

И как только мы с отцом войдем в здание гимназии вместе с этими разряженными господами? Я с тревогой осмотрел себя. Поношенный дешевенький костюмчик. На ногах сапоги со стоптанными каблуками. На отце тоже был очень старый костюм.

Отец остановился, беспомощно глядя на разодетых господ. Увидев под мышкой у гимназистов книжки, он сказал:

— Тебе мы купим подержанные книжки.

Потом взял меня за руку и решительно повел к большим воротам.

В этот момент перед подъездом остановился роскошный кабриолет, из которого вылезли важный господин в цилиндре, дама в шелках и мальчик в красивой матроске. Это был крепкий мальчуган ростом больше меня. Мужчина помог госпоже выйти из экипажа. Дама раскрыла зонтик от солнца и пошла, придерживая юбку рукой.

— Банкир Кохари с супругой, — услышал я тихий шепот прошедшего мимо нас мужчины.

К воротам гимназии мы подошли одновременно с банкиром, даже чуть раньше. Отец хотел было пройти первым, но господин в цилиндре небрежно махнул затянутой в перчатку рукой, сделав знак, чтобы мы убрались с дороги. Отец не заметил этого жеста банкира и продолжал идти. Тогда господин в цилиндре пренебрежительно воскликнул:

— Ты, крестьянин!

Дама, шедшая рядом с господином, поднесла к глазам какое-то стеклышко, висевшее на цепочке у нее на груди, и с ног до головы осмотрела нас, скорчив презрительную гримасу.

Заметив, как мать смотрит на нас, мальчуган в матроске тоже начал разглядывать меня и отца. Увидев, что я с интересом смотрю на его красивую матроску, мальчик самодовольно оглядел себя. Кажется, он всем своим видом хотел показать, что поступает в гимназию. Потом он подошел ко мне и почти по-приятельски, как это часто делают дети, похвастался:

— А меня сейчас запишут в гимназию! Я буду сидеть за первым столом. Папа уже договорился с господином учителем.

Потом, осмотрев еще раз мой костюм и сапоги, с недоверием спросил:

— Уж не в гимназию ли и ты собрался?

В голосе мальчугана все еще звучали дружеские нотки. Он даже несколько поотстал от родителей. Мать мальчика все еще не выпускала из рук стеклышко на цепочке. Она глядела по сторонам. Увидев, что сын отстал и разговаривает со мной, дама выпустила из рук стеклышко и, вспыхнув от негодования, подошла к нам. Схватила сына за руку и потащила за собой, бросив на меня уничтожающий взгляд.

— Фуй, Эрвин, разговариваешь с каким-то деревенским мальчишкой!

Мальчик неожиданно выпрямился, смерил меня с ног до головы презрительным взглядом и, подражая матери, бросил:

— Крестьянин!

Лицо мое залила краска стыда. Сердце сжалось от боли. В деревне мальчишки дразнили и колотили меня, а здесь прямо в лицо бросают: «Крестьянин». За что?

Несколько секунд мы молча рассматривали друг друга, будто хотели запомнить на всю жизнь.

Прохожие, видевшие эту сцену, показывали на нас пальцами и хихикали:

— Крестьянин в портках, ха-ха-ха!

— И он тоже захотел в гимназию?

Послышался громкий смех.

Кровь прилила к моему лицу. Меня так и подмывало крикнуть отцу: «Милый папа, уйдем отсюда!»

Я с трепетом смотрел на просторный вестибюль и огромную лестницу, по которой сплошным потоком поднимались взрослые и дети.

После долгих ожиданий мы вошли в большой зал, где записывали поступающих. За столом сидели важные господа (говорили, что это учителя), которые с удивлением рассматривали нас с отцом: видимо, наша крестьянская одежда резала им глаза. По лицу преподавателя с черными усиками пробежала насмешливая улыбка. Другой, как мне показалось, с очень добрым лицом, подозвал нас к своему столу, записал все, что требовалось, и сказал, что я буду учиться в его классе. У него была рыжая козлиная борода и усы. Внимательно осмотрев меня своими добрыми глазами, он спросил:

— Ты будешь хорошо учиться и станешь лучшим учеником, правда?

Я с благодарностью посмотрел учителю в глаза и, немного помолчав, ответил:

— Правда!

— Ну вот и хорошо. Завтра утром ровно в восемь приходи в этот зал.

Он протянул отцу руку и дружески подмигнул мне.

Когда мы выходили из зала, я невольно оглянулся и еще раз с благодарностью посмотрел на своего будущего учителя. Отцу я пообещал, что буду лучшим учеником в классе.

— Ладно, посмотрим по табелю, — сдержанно ответил он.

Когда мы вышли в коридор, то увидели, что все смотрят в сторону банкира и его супруги, которых до самого выхода провожали три преподавателя и директор гимназии, толстый господин, то и дело отвешивающий банкиру почтительные поклоны.

Купив учебники для первого класса, отец проводил меня к Генцу. Поговорив с ним немного, отец встал и, посмотрев на меня своими глубокими темными глазами, обнял. Казалось, он хотел на прощание вдохнуть в меня уверенность. И хотя позднее отец не раз приезжал ко мне в город, он никогда больше не прощался со мной так сердечно, как в этот раз. Сердце мое учащенно билось.

Отец долго целовал меня, потом заглянул в глаза и сказал:

— Дорогой сынок, будь человеком!

Помолчав немного, добавил:

— Будь настоящим человеком!

После этого отец выпустил меня из объятий и, пожав крепко руку, вышел.

Мне захотелось побежать за ним. Я даже дошел до калитки, но отец уже шел по улице. Он оглянулся, помаhal и торопливо зашагал по дороге.

Фигура отца показалась мне огромной. Он шел, слегка согнувшись, неся на своей спине нелегкое бремя жизненных забот и беспокойства за мое будущее.

НАУКИ

Шли дни, недели, месяцы учебы...

Я поражаюсь тайнам, раскрывавшимся передо мной. На уроках географии мы, ученики, словно побывали в далеких землях, о которых я никогда ничего не слышал. Сначала мы изучали географию Венгрии, и я удивлялся тому, как велика и красива наша страна. Задумывался над тем, какими же должны быть другие страны и какие в них живут люди. Неужели повсюду есть такие, как Длинноногий, нотариус, жандарм, Кука или господина типа Кохари?

Мальчик в матроске, с которым я познакомился в первый день, сидел недалеко от меня. Я время от времени поглядывал на него. Как-то, когда учитель географии читал одно из стихотворений Петефи, Эрвин Кохари стрельнул глазами в мою сторону и, видимо для того, чтобы показать свое превосходство передо мной, поднял руку и закричал:

— Господин учитель, я могу прочесть это стихотворение!

И, не дожидаясь разрешения господина Хорвата, начал декламировать стихотворение. Вдруг он запнулся на словах «букет цветов». Сам не знаю зачем, видимо чтобы показать, что я знаю стихотворение лучше Эрвина, я поднял руку. Господин учитель начал было подсказывать Кохари, но Эрвин запутался еще больше. По лицу господина Хорвата я видел, что он хотел помочь Кохари, но из этого ничего не вышло. Тогда господин учитель неохотно, с рассерженным лицом махнул мне рукой.

— Ну, может быть, ты прочтешь это стихотворение?

Я встал с горящим от волнения лицом и с выражением, без единой запинки прочел стихотворение до конца.

— Хорошо, сын мой! — похвалил меня учитель и, взойдя на кафедру, склонился над журналом. Не глядя на Кохари, он сухо пробормотал:

— Вот так, дети, нужно учиться!

Я был безмерно счастлив и долго не мог успокоиться. Очень удивился, увидев, что в глазах Кохари, когда он смотрел на меня, затаилась злоба. Однако, несмотря на это, я помогал ему по латыни и математике. Мою помощь он принимал иногда с благодарностью, иногда с видом полного равнодушия. Бывали периоды, когда мы становились чуть ли не друзьями. Все ученики нашего класса недолюбливали Эрвина. Иногда, чувствуя это, он становился печальным и тогда инстинктивно тянулся ко мне.

Господин Хорват много рассказывал нам о дальних странах и материках, о приключениях путешественников в Африке, Америке и на Занзибаре. Мы слушали его затаив дыхание. Потом он рассказал нам о Робинзоне Крузо, чему я особенно обрадовался, так как уже знал о нем из рассказов отца, а позже и сам с увлечением прочитал книжку.

Латынь нам преподавал Ференц Айтаи, тот самый учитель, который так по-дружески смотрел на меня, когда мы с отцом в первый раз пришли в гимназию. Ведя свой урок, он вдруг останавливался, забывал о склонениях и спряжениях и начинал рассказывать о древних римлянах и их империи. Делал он это для того, чтобы мы полюбили латинский язык, на котором когда-то говорили римляне.

Историю преподавал господин Ене Пинтер, а венгерский язык — господин Аради. Они говорили о том, что мы должны хорошо знать историю и родной язык. Господин Пинтер считал, что особенно хорошо нужно знать историю королей, а господин Аради утверждал, что в языке живет нация и что венгерская нация всегда была выдающейся нацией в мире. Йошка Торда, такой же крестьянский парнишка, как и я, с которым мы сидели за одной партой, как-то попросил разрешения сказать и выпалил, что господин Айтаи считает самым великим народом в истории римлян, а не венгров. Господин Аради только рукой махнул на слова Йошки и продолжал объяснять, насколько наша культура выше культуры соседних народов. Закончив свое объяснение, господин учитель посоветовал Торде в другой раз не говорить глупостей. Пос-

ле уроков мы с Тордой долго спорили о том, кто же из учителей прав, но так и не разобрались.

Однажды на уроке истории, когда господин Пинтер рассказывал нам о венгерских королях, со мной произошел казус. Я попросил слова и рассказал, как Кошут и Петефи отняли у короля трон, о чем я не раз слышал от отца. Однако, как только я это произнес, господин Пинтер нервным движением схватил свое пенсне и, не дав мне дальше говорить, закричал:

— Садись! Садись!

Ничего не понимая, я сел на место.

На переменах весь класс, как обычно, высыпал во двор. Сначала все играли вместе, но позже класс разделился на два лагеря: в одном были мальчишки бедных родителей, а в другом—те, кто ходил в матросках и коротеньких штанишках. Кохари лез из кожи вон, чтобы всегда быть предводителем мальчиков в матросках. Я, Торда, а позже и Альфред Вейс играли с мальчишками другого лагеря. Когда же ребята из лагеря Кохари отказывались играть с ним из-за его заносчивости и драчливости, он подходил к нам и просил принять его в нашу компанию. Мы не возражали, но подобные случаи бывали редко.

Сейчас Кохари играл со своими ребятами. За неповоротливость и медлительность ребята прозвали его медведем. А однажды они даже закричали на него:

— Неуклюжий медведь не может даже сам делать домашние задания. Их ему делает крестьянин Коллар!

Услышав это, Кохари метнул на меня грозный взгляд. Торда тоже заметил этот взгляд и на ухо шепнул мне, что Кохари, видимо, что-то замышляет против меня.

— А что он может сделать? — спросил я и как ни в чем не бывало продолжал играть.

Через несколько минут Кохари неожиданно подбежал ко мне и подставил ножку. Я упал. Кохари тоже. Но по его глазам я понял, что он упал нарочно. Я же шлепнулся так сильно, что разбил себе нос. Я и раньше побаивался Кохари: он был выше и сильнее меня. Еще когда я жил в деревне, соседки иногда говорили матери: «Нет, не для нашей крестьянской доли родился этот парнишка. Он такой худенький, и в чем только душа у него держится».

Вдруг Кохари вскочил на ноги и диким голосом заорал:

— Ах ты, грязная деревенщина, как ты смел подставить мне ножку?

Повернувшись к ребятам, он показал на меня:

— Видели, как он подставил мне ножку?

Я все еще лежал на земле и вытирал рукой кровь с лица. Кохари набросился на меня, сел верхом и начал колотить.

Нанося мне удары, он шептал на ухо:

— Это ты продал меня, грязная деревенщина! Откуда они могли узнать, что ты делаешь за меня домашние задания? Хочешь похвастаться, что знаешь больше меня?

И еще сильнее обозлившись, продолжал:

— Хочешь знать больше, чем я, дерьмо ты это такое?

Я крепко стиснул зубы и думал только о том, чтобы не застонать. В этот момент я невольно вспомнил верзилу Куку, когда однажды он, повалив меня на землю, бил что есть силы. И сейчас, как и тогда, я испытывал унижение. Я не заплакал, но на душе у меня было тяжело. Только бы не видели моего позора ребята! Хотелось позвать кого-нибудь на помощь, хотя бы Торду, но я и этого не сделал. Когда же он подбежал ко мне и начал отталкивать Кохари, а потом, рассердившись, лупить, меня охватило незнакомое раньше чувство благодарности. Стоило мне увидеть Торду, как я почувствовал себя намного сильнее Кохари.

Несколько ребят из нашего класса, которые неплохо относились ко мне, тоже пришли на помощь. Правда, нашлись и такие, которые встали на защиту Кохари. В результате образовались два лагеря, которые чуть было не вступили в драку между собой, но на шум, поднятый нами, прибежали учителя и вовремя разняли нас.

Когда мы пошли в класс, я осмотрел свой грязный костюм и, к своему ужасу, увидел, что куртка спереди разорвана. Я заплакал. Мне было жаль куртку. Что теперь со мной будет? Отец не сможет купить мне новую. Наконец я вспомнил, что дядя Дюри, подмастерье господина Генца, может зашить мне куртку. Тогда ни отец, ни мать ничего не заметят, когда придут навестить меня.

В душе я решил во что бы то ни стало стать сильным, таким сильным, чтобы никто не смел обижать меня.

КАЛЬМАН ТОМА

Я очень торопился домой, чтобы рассказать о случившемся в гимназии дяде Дюри. Да и кому еще мог я поведать о своих бедах! Из комнаты подмастерья, где я жил вместе с дядей Дюри, доносились обрывки громкого спора, сопровождаемые время от времени, видимо для большей внушительности, сильным стуком кулака по столу.

— Глупый, почему ты не хочешь идти вместе с нами? — с радостью узнал я голос Кальмана Тома.

Сказать о драке господину Генцу я не смел, а после того, как однажды дядя Дюри сказал мне, что мастера «сделаны совсем из другого теста», у меня даже пропала охота разговаривать с хозяином. Однако иногда мне все же казалось, что дядя Дюри завидует господину Генцу. Вздохнет, бывало, и, выругавшись, скажет:

— Ай-ай, когда-то я стану мастером!

Не ускользнуло от моего взгляда и то, что, несмотря на неприязнь к мастеру, дядя Дюри был в очень хороших отношениях с его дочкой, в чем во время подобных споров его не раз упрекал Кальман. С тех пор меня все сильнее влекло к Кальману, которому я и изливал все свои жалобы, стараясь заручиться его поддержкой. Кальман Тома был подмастерьем у столяра. Поскольку дядя Дюри имел отдельную комнату в заднем крыле дома, у него часто собирались подмастерья — сапожники, кузнецы. Я не раз замечал, как грузный господин Генц, припадая на одну ногу, ковылял к комнатухе дяди Дюри, чтобы подслушать, о чем же говорят подмастерья.

Я полюбил Кальмана за его сильный характер, чего так не хватало мне, плавающему в море безнадежности и страха. Незаметно я привязался к Кальману, как к отцу.

— Это ты глупый! Все вы глупые! — гремел из-за двери голос дяди Дюри. — Хотите тягаться с такой силой!

— Ну а если ты не глупый, тогда, значит, трус, — отрезал Тома и, видимо, сильно ударил по столу рукой. У него уж такая привычка была: споря с кем-нибудь, он обязательно стучал кулаком по столу. В такие моменты я невольно вздрагивал, а он громко смеялся и, взяв ме-

ния одной рукой, как щенка, поднимал в воздух, потом любовно прижимал к себе и говорил:

— Чего боишься, дружок? Ты только скажи мне, если тебя кто обижать станет. Я тому быстро голову отвинчу!

Осмелев, я теснее прижимался к нему, а освободившись от страха, даже смеялся и, сжав в кулак свою хуленькую руку, поднимал ее вверх и гордо говорил:

— Никого я не боюсь!

О драке с Кохари я решил рассказать только одному Кальману.

Когда я вошел в комнату, Кальман стучал кулаком по столу.

— Я тебе еще раз говорю, Дюрка: если ты не глупый, тогда трус! Кого ты боишься, черт бы тебя побрал? Чего нам бояться господ, когда у нас и так ничего нет? Нам нечего терять. Пусть они нас боятся!

— Но ведь в их руках вся власть — и полиция, и жандармы, и солдаты! — не уступал дядя Дюри.

— Так вот ты почему наложил в штаны и не хочешь идти с нами на маевку! — гремел Кальман. — Вот почему боишься вступить в наш профсоюз!

Дядя Дюри, смущенно опустив глаза, старательно вдвигал иглу в нитку и начал крутить ручку швейной машины. Немного помолчав, сказал:

— Я не хочу попасть в списки возмутителей, а то, чего доброго, еще и в тюрьму угодишь.

— Вот ты и есть трус! — кричал Тома. — Сейчас я скажу тебе, дружище, почему ты тянешь со вступлением в профсоюз и не хочешь бороться вместе с нами. Не столько из-за своей трусости, сколько из-за расчета. Мастером захотел стать, самостоятельным хозяином, чтобы подмастерья работали на тебя. Поэтому ты втихаря и ухаживаешь за дочкой мастера! Или ты думаешь, мы слепые и ничего не замечаем?

— За кем я ухаживаю, до этого никому никакого дела нет! — зло отрезал дядя Дюри.

— Хорошо, хорошо, дружище. До этого действительно никому нет никакого дела, — уже спокойнее заговорил Кальман Тома. — За это прошу простить меня. Ты своей тупостью кого угодно из себя выведешь! Разве ты не видишь, что быть самостоятельным в век машин и капитала становится все труднее и труднее? Капитал разоряет да-

же тех, кто был хозяином до сегодняшнего дня. Работал я в Пеште, работал в других местах. Везде одно и то же. Ну ладно, признаюсь тебе, так уж и быть. Было и у меня когда-то желание стать мастером, ни от кого не зависеть. Но какие у нас для этого возможности? Чтобы открыть собственную мастерскую, нужно иметь для начала кругленькую сумму. Черт возьми! Возьмем хотя бы мою специальность: на фабрике сейчас делают хорошую мебель, к тому же она намного дешевле, чем у нас в мастерской. Вот и получается, что нашему брату — рабочему не остается ничего другого, как сообща бороться за повышение заработной платы и сокращение рабочего дня. Может, у вас, портных, дела идут не так плохо, как у нас, но это тоже ненадолго.

Тома подошел ко мне, взял за плечо и, показывая рукой на дядю Дюри, рассмеялся:

— Ты не слушай его, у него опилки в голове! — И, заметив, что я пригорюнился, добавил: — Ну, что случилось, дружище? Уж не обидел ли кто тебя?

— Потом расскажу, — шепнул я Кальману.

В этот момент дверь распахнулась и в комнату вошли трое подмастерьев, которые бывали у дяди Дюри и раньше. Один из вошедших лукаво подмигнул в сторону дяди Дюри и, обращаясь к Кальману, спросил:

— Ну как, удалось уломать этого козла?

— Господь создал козлов и ослов, только со зла разумом ни тех ни других не наделил, — шутливо ответил Кальман. — Этот осел не хочет ни вступать в профсоюз, ни идти с нами на маевку.

— Ну что же, пусть тогда живет как знает!

— Тсс! Потише! Хозяин шныряет! — приложив палец к губам, выпалил один из подмастерьев.

Все повернули головы к окну, в котором показалась массивная фигура Генца. Видимо, хозяин почуял, что у дяди Дюри снова «сборище».

Войдя в комнату, он бросил своему подмастерью:

— Опять сборище устроили, заговорщики? Идете против хозяев, которые вас кормят?

Окинув подмастерьев злым взглядом, он сказал дяде Дюри:

— Пиджак готов? Ты же знаешь, что эта работа срочная!

Затем направился к выходу, но, увидев меня, закричал:

— А ну, марш заниматься в свою комнату! Нечего тебе здесь бездельничать вместе с этими смутьянами!

Я молнией выскочил из комнаты. Господин Генц вышел вслед за мной, бормоча что-то себе под нос.

Лишь несколько лет спустя, когда дядя Дюри женился на дочери мастера, я понял, почему старый Генц так заботливо опекал своего подмастерья: он вынашивал в душе надежду выдать за него засидевшуюся в девках дочь, мужу которой он со временем мог бы передать и мастерскую, и свое небольшое состояние.

О том, что случилось со мной в школе, я рассказал Кальману только на следующий день. Выслушав меня, он с силой ударил кулаком по ладони правой руки и сказал, что прибьет этого щенка Кохари.

Тогда-то я и узнал от него, что совесть господина банкира нечиста.

— Вот придет Первое мая, и мы покажем им, на что способен рабочий класс. И на собак найдем управу! — грозил господам Кальман.

Я, разумеется, тогда понял из этого разговора далеко не все.

ПРИЕЗД ШАРИКИ

После урока латыни мы гурьбой высыпали из класса в коридор и стали играть. Вдруг я увидел, что навстречу нам идет классный наставник и с ним какая-то женщина с девочкой. В тот же момент я услышал, как кто-то позвал меня по фамилии. Классный наставник помахал мне рукой, чтобы я подошел к нему. Я испугался, думая, что меня будут ругать за что-нибудь. Остановился и огляделся. Наставник вместе с женщиной и девочкой шел ко мне. Я перепугался еще больше. Вспомнил, как совсем недавно во дворе мы с Йошкой так толкнули одного мальчика, что тот упал и разбил себе нос. Наверное, эта дама мать того мальчика. Она пришла жаловаться, и сейчас меня потащат к директору.

Вдруг девочка побежала мне навстречу и закричала:

— Яни! Яни! Яни Коллар!

— Шарика!.. — От удивления я остановился на полуслове и закусил нижнюю губу. Я чуть было не закричал:

«Шари Гоби!», но тут же вспомнил, что так Шарику дразнили в деревне.

И если бы дама, которая сопровождала Шарику, не остановила девочку, мы от радости влетели бы друг другу в объятия. Радости моей не было границ. В голове ожили приятные воспоминания.

Дама подозвала к себе девочку и начала учить ее:

— Ну разве так делают? Это же неприлично! Ученица реального училища не должна разговаривать с мальчиками!

Шарика умоляюще посмотрела на меня, хотя лицо ее все еще светилось от радости.

Я посмотрел на даму, думая, кто она такая.

— Ты сын Коллара из Болдогкаты? — спросила меня дама.

— Да!

— А я тетушка Шарики, — пояснила она. — Шарика тоже поступает в реальное училище. Твой отец просил нас найти тебя и спросить, не нужно ли тебе чего-нибудь.

Тетушка помолчала немного и продолжала, обращаясь уже к нам обоим:

— В городе нужно вести себя иначе, чем в деревне. Шарика рассказывала мне, что вы всегда вместе играли. Дома вы можете играть вместе, а здесь нужно вести себя как следует.

Мы с Шарикой смотрели друг на друга и радовались встрече. Лучистые глаза девочки светились каким-то особым светом. Мне даже показалось, что сейчас я вижу в глазах Шарики тот самый цветок, который однажды сорвал и подарил ей, чтобы как-то утешить (ее тогда отколотил Кука).

— Теперь и я буду ходить в реальное училище! — тихо проговорила девочка. — Меня уже записали в монастырь, что за большим собором, это совсем недалеко от вашей гимназии.

В разговор вмешалась тетя и поучительным голосом сказала:

— В монастыре есть такое правило: девочкам не разрешается разговаривать с мальчиками. — И, обращаясь ко мне, добавила: — Если ты захочешь повидать Шарику, поиграть с ней или вместе позаниматься, приходи как-нибудь к нам. Мы живем на улице Галамб.

Помолчав, она забросала меня вопросами:

— Не нужно ли тебе что-нибудь? Как ты учишься? Что передать твоему отцу?

— Мне ничего не нужно, — ответил я. — Отметки у меня только хорошие.

— Смотри, учись хорошо, а то отец говорил, как бы ему не пришлось забрать тебя из гимназии. Да и Шарика говорила, что вы очень бедно живете.

Я смутился и, застеснявшись, опустил голову. Заметив мое смущение, дама погладила меня по голове.

— Ничего стыдного, сынок, в этом нет. Главное, что ты хорошо учишься и будешь честным человеком.

Нас обступили мальчишки. С любопытством, многозначительно переглядываясь, они разглядывали Шарику. Кохари осмотрел девочку с головы до ног и шепнул Фечке, сыну хозяина мельницы, но так, чтобы его слова услышал и я:

— Красивая девочка! Я за ней буду ухаживать! — Помолчав, с издевкой добавил: — Но и она, кажется, деревенская? Или еврейка? Да и ее тетя тоже!

Меня бросало то в жар, то в холод. Хотелось наброситься на Кохари. Мысленно я уже повалил оскорбителя на землю. Я со злостью посмотрел на Кохари и подумал про себя: «Ну подожди, я с тобой еще рассчитаюсь!»

Кохари, чтобы еще больше задеть меня, заметил Фечке, показывая на Шарику:

— Посмотри-ка, она в самом деле недурна! А глаза какие красивые!

Я с тревогой смотрел на девочку. Не презирает ли она меня за то, что я спокойно смотрю на ее оскорбителя? Но Шарика только теснее прижалась к своей тете.

К моему счастью, скоро зазвенел звонок. К нам подошел классный наставник и, обращаясь к тетушке Шарики, сказал:

— Сударыня, перемена кончилась. Во время уроков в здании гимназии посторонним находиться не полагается!

Тетушка Шарики протянула мне руку, за что я был благодарен ей, так как чувствовал себя перед Шарикой совсем взрослым. Шарика вопросительно посмотрела на тетушку, словно спрашивая, можно ли и ей пожать мою руку.

— Ну, подайте друг другу руки и пошли! — сказала тетушка.

Мы с радостью пожали друг другу руки.

— Не бойся, я и в городе за тебя заступаться буду! Вот увидишь, я буду сильнее всех! — успел я шепнуть девочке.

— Как-нибудь навести нас! — направляясь к выходу, сказала тетя Шарики.

Я смотрел им вслед, пока они не свернули в боковой коридор, и, счастливый, пошел в класс.

Не успел я дойти до двери класса, как меня догнал Кохари. Видимо, он испугался, что я не буду больше делать ему домашние задания, и искал примирения:

— Ну, давай и мы пожмем друг другу руки! Я ведь пошутил.

Я посмотрел на него, но руки не протянул.

ПЕРВОЕ МАЯ

Когда я пришел из гимназии домой, Тома и его друзья оживленно беседовали о чем-то с дядей Дюри. В последнее время они чаще всего говорили о маевке, на которую дядя Дюри никак не хотел идти. Подмастерья, казалось, смирились с этим, обозвав его не раз трусом и еще какими-то словами, значения которых я никак не мог понять. Они называли его желтым, но дружить с ним все-таки не перестали. Кроме Кальмана к дяде Дюри зашли сапожник Лайош Фекете, кузнец Янош Калла и портной Лёринц Везеки. Шестым оказался мужчина в сапогах, которого я никогда не видел. Дяде Дюри незнакомца представили как председателя профсоюза землекопов, назвав его товарищем Бато.

Все были сильно взволнованы. Кальман размахивал каким-то письмом:

— Вот оно! Мы не только проведем демонстрацию, но еще и митинг организуем!

— В Пеште приняли наше предложение? Кого-нибудь пришлют к нам? — с беспокойством спросил кузнец Калла, поднимая в воздух сжатую в кулак правую руку, чтобы с силой ударить им по ладони левой руки. Кулак его напоминал большой молоток у отца в мастерской.

— Ну, тогда, — продолжал Калла и так треснул кулаком по ладони, словно из револьвера выстрелил, а по-

том закричал: — Ну, тогда... быть митингу, если даже господа пришлют на него всех своих полицейских!

— Вот, почитай-ка письмо! — предложил Лёринц Везеки Кальману.

Кальман начал громко читать:

«Дорогие коллеги! Мы получили ваше письмо, в котором вы просите прислать к вам в Ясварош на Первое мая оратора. Вы пишете, что не только хотите провести демонстрацию, но и организовать массовый митинг, чтобы придать этому важному событию больше торжественности и чтобы господа Ясвароша знали, что и в вашем родном городе есть рабочий класс, готовый бороться за свои права. Мы с радостью читали о ваших приготовлениях к празднованию Первого мая. Оратора мы вам обязательно пришлем. Зовут его Михаем Вайдой. Просим вас встретить его на железнодорожной станции. Вы узнаете его по красной гвоздике в лацкане пиджака. В руках у него будет номер газеты «Непсава». Желаем вам успехов в борьбе за повышение заработной платы, за восьмичасовой рабочий день и на общих выборах.

С товарищеским приветом!

Секретариат Венгерской социал-демократической партии».

Кальман попробовал прочитать фамилию лица, подписавшего письмо, но она была написана очень неразборчиво.

— Неважно, кто его подписал, — заметил Янош Калла. — Важно, что письмо скреплено печатью, не так ли?

— Конечно! Вот смотри, большая круглая печать. Даже можно прочитать: «Венгерская социал-демократическая партия. Будапешт». — Тома показал на печать.

— Ну, тогда все в порядке! — согласился Калла. — Самое главное, что к нам приедет оратор.

— Разумеется! Но мы должны будем обеспечить его безопасность. Никто не должен знать о приезде этого человека. Дело в том, что, когда мы просили в городской полиции и в судебном управлении разрешение провести митинг, нас предупредили: ни в коем случае не приглашать в город ни одного социал-демократа. Демонстрацию нам разрешили при условии, если мы чинно, тихо пройдем через центральную площадь города и удалимся на маевку в лес. И ничего больше.

— Ну, мы им потом скажем, был у нас митинг или нет! — воскликнул Калла.

— А сейчас, друзья, необходимо приложить все силы к тому, чтобы как следует расшевелить народ! — начал Тома. — Нужно сделать так, чтобы каждый профсоюз обязательно принял активное участие в демонстрации! Мы попросим коллегу Бато принять все меры к тому, чтобы все члены профсоюза землекопов тоже вышли вместе с нами на улицу. Более того, не только все члены профсоюза, но и все землекопы, на которых можно положиться.

— Будет сделано! — медленно, но уверенно проговорил Бато.

— Завтра мы соберемся еще раз и решим, кому мы поручим организацию демонстрации, кто будет председательствовать на митинге и кто пойдет на железнодорожную станцию встречать оратора, — предложил Тома.

— Нельзя ли провести собрание где-нибудь в другом месте? — забеспокоился дядя Дюри. — Хозяин не спускает с нас глаз. Как бы в самый последний момент он не напакостил нам...

— А ты-то чего боишься? — перебил его Тома. — Ты же ведь не собираешься идти с нами на демонстрацию!

— Я еще подумаю, — словно оправдываясь, ответил дядя Дюри. — А боюсь я не столько за себя, сколько за вас да за вашего пештского оратора.

В этот момент в окошечке, выходящем в коридор, мелькнула большая рыжая голова господина Генца. Подперев подбородок рукой, он старался приблизить ухо к оконцу, чтобы все слышать, но остаться незамеченным. Кальман как ни в чем не бывало нарочито громким голосом начал рассказывать о том, как он с товарищами вчера вечером зашел в союз католической молодежи, как они хохотали там над «колоколами», как они между собой дразнили членов этого союза.

Господин Генц, который еще раньше кое-что прослышал о подготовке к Первому мая, резко открыл дверь:

— А ну-ка, убирайтесь отсюда, и немедленно. — И с издевкой добавил: — Мой дом — это вам не профсоюз!

Хозяин уже хотел было выйти, но заметил меня. На

этот раз он не сказал мне ни слова: видимо, потерял дар речи от злости, зато бросил на меня такой взгляд, что я быстро спрятался за спины взрослых.

На следующее утро по дороге в школу я только и слышал, как говорили о большой демонстрации протеста, которая состоится в городе первого мая. Говорили и о том, что рабочие восстанут, сделают революцию и, отняв у богатых их дома, лавки, раздадут все это вместе с огромными сокровищами банка рабочим. А одна торговка на базаре объяснила своей соседке, что подмастерья «перевешают всех жителей города». Само собой разумеется, что, как только я услышал подобные разговоры, кровь стала стечь у меня в жилах и я стал вспоминать некоторые таинственные обрывки вчерашнего разговора Кальмана и его друзей, особенно об ораторе из Пешта с гвоздикой в лацкане и номером газеты «Непсава» в руках.

В тот день на уроке латыни классный руководитель сказал нам, что первого мая в городе состоится какая-то демонстрация социалистов, и строго-настрого предупредил нас, чтобы ни один из нас не вздумал пойти на эту демонстрацию. В противном случае виновные будут немедленно исключены из гимназии. Такое распоряжение отдал господин директор. Я незаметно переглянулся с Тордой, которому уже кое-что рассказал. Большинство ребят начало перешептываться: раз в городе будет такое зрелище, на которое запрещено ходить, значит, его во что бы то ни стало надо посмотреть! Только один Кохари поднял руку, а когда учитель спросил его, чего он хочет, встал и сказал:

— Господин учитель, на демонстрацию выйдут только одни подонки. Так говорит мой папа и господин старший судья. Он вчера был у нас. Но весь этот сброд как следует проучат!

Господин Айтаи торопливо, но решительно махнул Кохари рукой, предлагая сесть на место.

— Не будем больше говорить об этом. В стенах гимназии не может быть никаких демонстрантов! Садись!

Мы с Тордой от души радовались, что господин Айтаи так решительно осадил Кохари. Втайне я гордился тем, что больше всех знал о готовящейся первомайской демонстрации.

По дороге домой Торда, в глазах которого мой авторитет вырос потому, что я знал больше других о готовящейся маевке, спросил меня:

— А что такое социализм?

Я немного подумал, чтобы придать своим словам больший вес, и ответил:

— Это демонстрация протеста. — Потом осторожно огляделся, нет ли кого поблизости, наклонился к самому уху Торды и прошептал: — И еще митинг. — И тут же замолчал, вспомнив о предупреждении Кальмана, чтобы ни одна живая душа не узнала о приготовлениях к маевке и о приезде из Пешта оратора с красной гвоздикой на лацкане пиджака.

И вот наконец наступило первое мая.

Утром на центральной площади почти никого не было. На рынке торговало всего несколько торговков, которые то и дело боязливо оглядывались по сторонам, чтобы вовремя увидеть, с какой стороны пойдут демонстранты. Мы с Тордой беспокойно ходили по рынку и смотрели, не видит ли нас кто-нибудь из учителей. Мы искали место, где можно было бы, оставаясь незамеченными, наблюдать за демонстрацией. Сначала Тома хотел меня взять с собой на демонстрацию, чтобы я «учился не только по книжкам, но и у жизни». Но когда я сказал ему, что нам строго-настрога наказали не ходить на демонстрацию под страхом исключения из гимназии, он сразу же отказался от своего намерения.

В открытых дверях лавок, находящихся на площади, за полуопущенными жалюзи виднелись головы лавочников, которые с тревогой глядели по сторонам и готовы были в любую минуту опустить жалюзи до конца и захлопнуть двери своих заведений. По площади взад и вперед важно прохаживались полицейские, а перед большим зданием банка, который находился в конце площади, собралось столько полицейских, что мы с Тордой, увидев их, испуганно шмыгнули в боковую улочку. Но там полицейских оказалось еще больше. Видимо, они хотели до определенного времени остаться незамеченными. Более того, здесь были даже жандармы, которых я боялся как огня. Мы свернули в третий переулок и остановились: оттуда тоже можно

было видеть площадь. По улицам шмыгали гимназисты, но все они были из старших классов и не знали нас.

Наконец со стороны площади донеслось:

— Идут! Идут!

С грохотом пушечных выстрелов в окнах домов стали опускаться жалюзи и закрываться окна. От нетерпения у нас даже дух перехватило. Чтобы лучше видеть площадь, мы стали пробираться вперед, прижимаясь к стенам домов.

Прошло несколько минут — и на площадь вступили демонстранты.

Впереди всех шли Кальман Тома и Янош Калла. Они несли на двух шестах белое полотнище, на котором большими буквами алела надпись: «Да здравствует Первое мая, праздник трудящихся всех стран!»

Между ними шел незнакомый мне мужчина. «Наверное, это и есть пештский оратор!» — мелькнуло у меня в голове. Справа и слева от незнакомца двое рабочих несли по красному флагу. За ними нестройными рядами, чтобы придать шествию более внушительный вид, шли демонстранты. Многие из них несли транспаранты. На одном из таких транспарантов, который нес Лайош Фекете, было написано: «Профсоюз сапожников». Во главе второй группы шагал Лёринц Везеки, неся транспарант с надписью: «Профсоюз портных». Третью группу возглавлял Бато из профсоюза землекопов. За ними шли все новые и новые группы.

Среди собравшихся на площади были и женщины, и дети. У всех радостные лица. Отовсюду неслись выкрики:

— Да здравствует Первое мая!

— Мы требуем человеческой заработной платы и восьмичасового рабочего дня!

— Требуем хлеба и человеческих прав!

— Требуем общего избирательного права с тайным голосованием!

Когда первые ряды демонстрантов дошли до середины площади, Тома, шедший впереди колонны, оглянулся назад и махнул рукой. И тотчас же все громко запели, причем с таким воодушевлением, что мне вдруг захотелось шагать вместе с демонстрантами. Я видел, как Торда начал беззвучно шевелить губами, словно подпевая.

Некоторые женщины подняли своих детей и посадили их себе на плечи. Все демонстранты были одеты по-праздничному.

Когда шествие подошло к зданию городской управы и стало приближаться к банку, из боковой улицы на площадь неожиданно высыпали полицейские и жандармы. Полицейские обнажили шашки наголо, а жандармы взяли винтовки со штыками наперевес. Все медленно шли навстречу демонстрантам.

Вдруг воздух прорезал плач детей и крики женщин. Мы с Тордой хотели бежать, но ноги словно приросли к тротуару, и мы не могли даже пошевелиться. Стояли и смотрели на неразбериху, которая началась на площади. Тома и его товарищи смело шли прямо на полицейских и жандармов.

— Разойдись! Разойдись! — выкрикнул полицейский офицер, выскочив вперед.

Демонстранты, шедшие в первом ряду, застыли на месте.

— Разойдись, а то будем стрелять! — заорал жандарм.

Женщины закричали еще громче. Некоторые из них, схватив своих детей, побежали в сторону. Другие не двинулись с места и вступили с полицейскими и жандармами в громкую перебранку, проклиная и тех и других.

— За что они нас обижают?

— Мы хотим мирно отметить свой праздник!

— Разве рабочие и бедняки не имеют права жить?

— Вы вот защищаете господ, а ведь ваши отцы и матери такие же бедняки, как и мы!

Офицер обернулся к полицейским и громко скомандовал:

— Разогнаты! Разогнаты!

Полицейские бросились разгонять демонстрантов, избивая их шашками плашмя. Я видел, как глаза у Кальмана налились кровью. Видел, как к нему подскочили Калла и Бато и оттолкнули его в сторону, подальше от полицейских.

Крики, причитания, женский и детский плач, злая ругань мужчин неслись со всех сторон. Люди расходились неохотно. Скоро все стихло. Площадь опустела. Лишь на мостовой кое-где валялись покрытые пылью

транспаранты с названиями профсоюзов. Полицейские и жандармы наслаждались своей победой. Несколько полицейских погнались было за пештским оратором, но Тома, Янош Калла и Бато надежно оберегали его.

Мы с Тордой как угорелые помчались домой.

НА СОБСТВЕННЫХ КРЫЛЬЯХ

С тяжелым сердцем шел я к Шарике на улицу Галамб. Подошел к дому, где она жила, остановился, не смея войти во двор: такой это был красивый дом. Сквозь железную ограду был хорошо виден весь двор, засаженный деревьями и цветами. На больших чугунных воротах мраморная дощечка с золотыми буквами: «Д-р Эмиль Браун, адвокат».

— Это ты, Яни Коллар? Почему же ты не заходишь? Заходи! — услышал я вдруг с крыльца голос тетушки Шарики.

Пока я шел к дому по усыпанной красным песком дорожке, навстречу мне выбежала Шарика. Лицо ее светилось радостью.

— Яни! Яни! — кричала она.

И в тот же миг послышался строгий окрик:

— Ша-ри-ка!

Это кричала с крыльца тетушка. Еще во время первой нашей встречи я заметил, что она хочет держать Шарику подальше от меня. Предупредительный крик тетушки болью отозвался в моем сердце. Хотелось повернуться и уйти, но тетушка уже обратилась ко мне:

— Решил навестить нас?

Я молчал, не зная, что отвечать.

В этот момент ко мне подошла Шарика. Она взяла меня за руку и повела в дом.

— Пойдем к нам! Я все время спрашивала у тетушки, почему ты к нам не приходишь.

Тетушка бросила на девочку осуждающий взгляд. Меня усадили в бархатное кресло в очень красивой комнате. Дар речи все еще не возвращался ко мне. Я впервые в жизни был в таком богатом доме и не знал, что делать и говорить. Заметив мое замешательство, тетушка пришла ко мне на помощь.

— Чувствуй себя свободно. Ты любишь кофе с молоком? Сейчас принесу. Как ты учишься? Хорошо?

— Хорошо... — с трудом выговорил я. — Я пришел к вам... попрощаться: отец забирает меня из гимназии...

От волнения у меня пропал голос.

— Забирает? — удивилась тетушка. — Почему же?

— Вчера отец приезжал ко мне. Сказал, что учить меня дальше не может: нет денег. Нечем платить за мое питание и за квартиру господину Генцу, у которого я живу. Теленка нашего давно продали. Теперь нужно продавать корову, а там и землю.

Шарика смотрела на меня испуганными, полными печали глазами.

— Этого нельзя делать! Этого нельзя допустить! — решительно заявила тетушка.

— Но корову продавать тоже нельзя. Когда теленка продали, вся семья плакала, — упавшим голосом пролепетал я.

— Ну что ж, тогда мы тебе поможем! — великодушно заявила тетушка. — Папа Шарики тоже считает, что тебе обязательно нужно учиться дальше.

Немного подумав, тетушка продолжала:

— Будешь ходить к нам обедать. Найдем учеников, которым ты будешь давать уроки. Так и заработаешь себе на квартиру. Да еще на мелкие расходы кое-что останется.

Запрыгав от радости, Шарика подбежала к тетушке.

— Тетя Каролина, это правда, что Яни каждый день будет кушать у нас, а потом мы с ним будем играть?

— Там видно будет! — уклончиво ответила тетя Каролина и, немного подумав, продолжала: — Ты мог бы заниматься с сыном адвоката Керестеши, потом с сыном аптекаря Фехери, а может, и с сыном нотариуса. Помню, на днях старший судья как раз искал гимназиста, который мог бы заниматься с его сынишкой. Ты наверняка мог бы помочь ему.

Постепенно я начал понимать, что у меня действительно появилась возможность не бросать гимназию. От радости меня даже в пот бросило. Я не знал, как благодарить тетю Каролину, и невнятно пробормотал:

— Это было бы... очень хорошо...

Затем меня охватило чувство гордости, не лишенное, правда, некоторой тревоги. Отныне я обрету собственные крылья: буду помогать учиться другим, зарабатывая себе на кусок хлеба. Вот когда мне нужно быть

по-настоящему сильным и смелым! И я так посмотрел на Шарику, будто хотел, чтобы она прочла в моем изгляде, что я становлюсь сильным, самостоятельным мужчиной. Слово «мужчина», которое я с гордостью повторял про себя, не выходило у меня из головы.

— Хорошо будет... очень хорошо будет... — запинаясь, пролепетал я еще раз, но уже увереннее.

Поблагодарив тетю Каролину за помощь, я немедленно пошел к выходу. Я нарочно шел медленно, чтобы меня могла догнать Шарика, с которой мне хотелось поговорить наедине. Перед уходом я украдкой многозначительно посмотрел на девочку, и она сразу же по одному моему взгляду поняла, что мне хотелось бы поговорить с ней. В глазах ее засветилось любопытство. Заметив мое замешательство и, видимо, разгадав мое намерение, тетя Каролина чуть заметно улыбнулась и, направляясь в соседнюю комнату, сказала Шарике:

— А ты проводи гостя до ворот!

Не дойдя до двери, тетушка остановилась.

— Но только до ворот! — В голосе ее зазвучали строгие нотки.

Когда мы остались одни, я быстро спросил Шарику:

— Ты знаешь, кто такой Кохари?

— Какой такой Кохари? — удивилась Шарика.

— А помнишь, такой нахальный мальчишка, который дерзко говорил о тебе и о тете?

Шарика не сразу поняла, о ком я говорю, а когда сообразила, сразу же стала печальной и глухо спросила:

— Это тот самый мальчишка, который обозвал тетю Каролину еврейкой?

Но меня лично больше волновало то, что Кохари оскорбил Шарику, и поэтому я сказал:

— Тот, что обидел тебя! Знаешь, что он за мальчишка?

Шарика с любопытством смотрела на меня.

— Он такой же, как верзила Кука из нашей деревни! — решительно заявил я.

Мои слова достигли цели: Шарика вздрогнула. «Теперь она наверняка будет бояться Кохари», — успокоил я себя и быстро распрощался с Шарикой...

Семья старшего судьи жила в самом центре города, в прекрасной вилле рядом с городским собором. Эта вилла была куда красивее дома Браунов. Я долго не отваживался войти во двор: вдоль забора бегала большая немецкая овчарка. Стоило мне подойти поближе к забору, как она начинала лаять на меня. Испугавшись, я хотел было пуститься наутек, но в этот момент из дома вышла девушка в белом платье, которая прогнала собаку. Девушка провела меня в дом, сказав, что меня уже ждут и что сейчас она доложит обо мне господам. В прихожей к нам вышла молодая красивая дама. Она внимательно осмотрела меня.

— Это тебя рекомендовал нам адвокат Браун?

Я с трудом ответил.

Дама задала мне несколько вопросов и как бы между прочим спросила, нет ли у меня костюмчика получше, чем тот, который был на мне, так как мне придется гулять с ее сыном. От этого вопроса и от ее внимательного, изучающего взгляда у меня заняло сердце. Что я мог ей ответить?

Скоро домой вернулся и муж дамы — господин старший судья. Это был высокий мужчина с черными как смоль волосами и такими же усами и бровями. Он тоже начал осматривать меня, только более бесцеремонно, чем его жена.

— Ты можешь заниматься с моим сыном? — почти угрожающим тоном спросил он.

— Могу. Я хожу в третий класс.

— Ну-ну, тогда посмотрим! — прогремел судья и вышел из прихожей. Сына судьи в тот день не было дома, и дама сказала мне, чтобы я зашел к ним завтра: они объявят свое окончательное решение.

На следующий день я уже занимался с сыном судьи. Скоро по рекомендации Браунов меня пригласили еще в несколько домов.

Сын судьи, толстый, краснощекий парнишка, был одет наряднее, чем Кохари. Однажды, когда мы занимались, он остановился и, скорчив гримасу, неожиданно спросил меня:

— Кохари говорил, что ты серая деревенщина. Это правда?

Меня словно в грудь ударили. Щеки начали гореть, а глаза стало резать. Я с трудом сдержал слезы. С

неожиданным упрямством, появление которого я мог объяснить только влиянием на меня разговоров Кальмана и его друзей, я чуть ли не вызывающе ответил:

— Да, это правда!

Эрнё, так звали моего ученика, начал высокомерно объяснять мне:

— Я спросил тебя об этом потому, что мой папа судит крестьян и рабочих, если они осмеливаются бунтовать! Сегодня он как раз допрашивал тех самых мерзавцев, которые организовали у нас в городе маевку.

Я со страхом слушал Эрнё и молчал. Хотелось вскочить и уйти прочь из этого дома. Заниматься больше я уже не мог и предложил выйти в сад понаблюдать за птицами.

В саду, в тенистой беседке, потягивая вино из хрустальных бокалов, сидели господин судья и еще три господина.

— ...Они-то и являются носителями этой заразы. Наша же обязанность заключается в том, чтобы задушить их, выжечь огнем, уничтожить, как вредных гусениц, пожирающих листья и корни здорового дерева, пока они не превратились в более опасного врага и не причинили нам большего вреда, — зазвенел у меня в ушах голос господина судьи.

Я не знал, о ком говорит господин судья, но в это время в беседку вошел жандармский унтер-офицер и, вытянувшись в струнку, доложил:

— Покорнейше докладываю, господин старший судья!

— Ну что там? — недовольно перебил унтера судья. — Признались, от кого они получили указания на проведение демонстрации?

— Покорнейше докладываю, никак нет, не признались.

— Тогда всыпьте каждому пока по тридцать палок. Только как следует, с огоньком! А если и это не поможет, тогда придется прибегнуть к более строгим мерам. Этому социалисту из Пешта и всем нашим местным главарям — Томе, Калле и деревенщине Бато — всыпьте по пятьдесят горячих, чтобы они на всю жизнь запомнили, как митинговать, и чтобы у них отпала всякая охота мутить народ и устраивать демонстрации! Тому (он сюда тоже из Пешта прибыл), после того как вы его как следует проучите, выслать из города под над-

зор полиции. Пусть возвращается в свой Пешт, но мы и там за ним присматривать будем.

— Слушаюсь! — щелкнув каблуками и отдав честь, рывкнул унтер и, повернувшись на каблуках, пошел к воротам.

— За вашу энергию, господин старший судья, все мы, да и не только мы, но и вся область уважает вас! — донесся из беседки голос одного из мужчин.

Затем я снова услышал голос судьи:

— Только так и нужно обращаться с этими бездомными бродягами! Я их научу, если они совести не имеют! — И, придав голосу вежливое выражение, обратился к господам: — Прошу вас, выпьем!

Зазвенели бокалы.

Слова судьи напомнили мне о жандармах, которые в нашей деревне по приказу нотариуса и судьи избили Имре Бейтоша и его товарищей, а потом, надев на них наручники, отправили в тюрьму. Неожиданно мне стало плохо. Тошнота подступала к горлу.

Я тотчас же сказал сыну судьи, что мне плохо. Он и сам заметил, что я побледнел.

— Сейчас же убирайся отсюда! — брезгливо бросил он мне.

Шатаясь, словно пьяный, я побрел к воротам.

В этот момент из беседки вышел один господин. Я тотчас же узнал его. Это был отец Кохари.

Собрав последние силы, я выбежал на улицу.

После этого случая я никак не мог заставить себя ходить в дом судьи и заниматься с его сыном. Сослался на то, что заболел.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО

Прошло несколько лет. Я уже ходил в шестой класс. С каждым годом в нашем классе становилось все меньше и меньше старых учеников. Одни переехали в другие города, другие были вынуждены бросить учебу по материальным соображениям. Я был счастлив, что нашел возможность продолжать учебу. В пятом классе Кохари провалился на годовых экзаменах, несмотря на все старания учителей вытащить его. Несколько раз преподаватели сами подсказывали ему, как он должен отвечать на тот или иной вопрос, а то и заранее пре-

дупреждали, о чем будут спрашивать. И все же он провалился. Кохари не раз хвастался, что его в любом случае переведут в шестой класс, так как отец его самый крупный банкир не только в городе, но и во всей области. И все-таки его не перевели: настолько скудны были его знания.

Вместо выбывших по той или другой причине ребят в классе появилось несколько новых учеников. Больше всех я сдружился с Лайошем Тичкой и Альфредом Вейсом. Лайош приехал из Эгера, а Альфред — из Эсека. Родители Альфреда были очень бедными людьми, но в Ясвароше у него жили родственники, которые помогали ему. Отец Тички был учителем и работал в деревенской школе неподалеку от Ясвароша.

Тичка все чаще и чаще стал приглашать меня к себе делать гербарии. Иногда мы вместе ходили в поле, в лес или на речку.

Во время прогулок Лайош рассказывал мне о вещах, о которых я раньше не имел ни малейшего представления. Прежде чем поведать мне о чем-нибудь серьезном, он долго пристально смотрел мне в глаза, отчего я приходил в замешательство, не зная, чего он от меня хочет. Затем спрашивал, нет ли у нас в классе доносчиков и не шпионит ли за нами кто-нибудь из учителей. Все это окутывало его рассказы таинственной загадочностью.

Однажды он спросил меня:

— А ты меня не предашь?

Я с удивлением смотрел на Тичку, а самого так и разбирало любопытство. С обидой в голосе я заявил, что скорее умру, чем предам друга. Я не смог бы сделать подлость даже по отношению к Кохари. Я рассказал Тичке о Кохари. Выслушав меня, Лайош нахмурил свой высокий, красивый лоб, откинул голову, пальцами руки зачесал назад свои каштановые волосы и твердым голосом сказал:

— Дай этому банкирскому щенку как следует, если он будет лезть к тебе!

Потом огляделся и, наклонившись ко мне, прошептал:

— Из-за этих самых банкиров и священников мне пришлось просить отца забрать меня из Эгера.

Я ничего не понимал.

— Как так пришлось просить? Почему?

— Потому что я тайком читал ребятам лекции о французской революции. Вот мне и дали понять, что я должен немедленно убираться из Эгера.

— Читал лекции о французской революции? — удивленно переспросил я. — Мы этого в гимназии не проходили.

— Разумеется, не проходили, потому что имеются типы, которым не нравится, когда люди, и главным образом молодежь, интересуются революцией.

И он начал рассказывать мне с таким воодушевлением, что я только вытаращил глаза и молча слушал о французской революции 1789 года, штурме Бастилии, восстании французского народа; о боях на баррикадах, Конвенте, Дантоне, Робеспьере; о казни короля и, как он выразился, о победе самой крупной революции в истории. Лайош долго растолковывал мне, что такое свобода, равенство и братство, твердил, что все люди должны быть свободными и равноправными. Рассказывая, он время от времени откидывал назад свои густые волосы. Говорил же он с таким жаром, что я слушал его затаив дыхание. Его рассказы казались мне намного интереснее приключений Робинзона. Я вспомнил, как мне было стыдно и больно смотреть, когда жандармы и полицейские разгоняли первого мая демонстрантов шашками и прикладами. Рассказы Тички, которые он привез с собой из далекого Эгера, зажгли и в моей душе огонь.

— А ты думаешь, у нас не может быть такой же революции, как во Франции? — продолжал Тичка. — Правда, у нас тоже была революция — в 1848 году, которая освободила крепостных, но Габсбурги задушили революцию.

— Революция сорок восьмого года! — воскликнул я. — О ней мне отец много рассказывал.

Меня изумили знания Тички. И откуда только он столько знает о революции? Я тут же спросил его об этом.

— Вот за это-то священники и вытурили меня из Эгера. Разумеется, всему этому я научился не в школе. Про такое там не говорят.

Наклонившись ко мне, Тичка продолжал:

— Я уже разговаривал с Альфредом Вейсом. Замечательный парень! Мне кажется, ему можно доверять.

— Мне тоже можно, — решительно заявил я.

Неожиданно в голову мне пришла интересная мысль. Об этом я где-то читал.

— Давай организуем тайное общество!

Тичка слушал меня, а сам думал о чем-то своём.

— И знаешь что? — не унимался я. — Примем в наше общество Яноша Каллу, Везеки и Лайоша Фекетел! Жаль, что Кальмана нет здесь. Его увезли в Пешт.

Тичка подозрительно посмотрел на меня:

— Это кто такие?

Под строгим секретом я поведал своему новому другу о том, как принимал участие в «революции», которая происходила у нас в городе. Рассказал о демонстрации, состоявшейся первого мая, о флагах и транспарантах, которые несли демонстранты, о песнях, которые они пели: «Не будут больше господа властвовать над нами...»

— Демонстранты пели и эту песню? Да знаешь ли ты, что это и есть марш французской революции?

Я этого, разумеется, не знал.

— Ну что ж, таких людей можно будет принять в наше общество! Только запомни: быть членом тайного общества — дело опасное!

У меня было такое ощущение, что я уже ничего не боюсь, в чем и заверил своего друга.

Мы оба решили принять Каллу, Везеки и Фекете в наше общество. Тичка предложил принимать по одному, персонально. Но сначала нужно познакомиться с ними, проверить их надежность, а потом встретиться где-нибудь в лесу. Каждый член нашего общества должен дать клятву: что бы с ним ни случилось, молчать и никого не выдавать.

На этом мы разошлись.

Несколько недель спустя, в субботу вечером, мы встретились с Тичкой у старой мельницы. Пришли мы поодиночке с удочками в руках, как настоящие подпольщики, чтобы не вызвать никаких подозрений. Скоро наше общество разрослось, и мы встречались подобным образом довольно часто. Тичка рассказывал нам о французской революции, а мы слушали разинув рты. Альфред тоже много знал о революции. На наши встречи регулярно приходил и Калла со своими друзьями.

Янош Калла часто говорил нам, что французская революция — это буржуазная революция и что сегодняшним рабочим гораздо понятнее и ближе Парижская коммуна 1871 года. Тичка горячо защищал Дантона и Робеспьера и наконец согласился, что Парижская коммуна сделала великое дело, хотя его лично больше воодушевляет революция 1789 года. Нам же из-за этих разногласий не следует наносить ущерб обществу. Революция — это главное!

На одном из собраний мы приступили к выработке устава общества.

Я предложил записать в устав, что борьба с жандармами и полицейскими является нашей святой обязанностью. Все согласились с этим. По предложению Тички этот пункт дополнили словами: «и капиталистами».

Калла и Везеки предложили включить в этот же пункт следующие слова: «А также против мастеров, сдирающих шкуру с подмастерьев».

Все добавления были приняты нами единогласно и с большим воодушевлением.

Затем Калла предложил включить в устав специальный пункт, обязывающий всех членов нашего общества регулярно читать рабочую газету «Непсава». «Разумеется, наши встречи и беседы приносят нам большую пользу,— объяснял он нам, — мы на них учимся, но из газеты можно многое узнать, и прежде всего то, что делается в мире. Я получаю «Непсаву» и буду давать вам читать ее». Тичка заявил, что его отец тоже получает «Непсаву» и что он давным-давно прочитывает каждый номер. Более того, он даже читает журнал «Двадцатое столетие». После этого заявления авторитет Тички в наших глазах сразу же вырос, что, видимо, льстило ему. Мы стали регулярно читать «Непсаву». Постепенно передо мной раскрывались картины политической борьбы пролетариата. Сам я стал чувствовать себя свободнее и смелее. У меня появилось такое ощущение, будто меня вооружили каким-то новым, мощным оружием, сила которого намного превосходит силу полицейских и жандармов.

Однажды мы попали в неприятную историю.

Собравшись на очередное собрание (мы сидели на берегу реки), мы так увлеклись спором, что ничего не видели. Удочки забросили в воду, как только пришли

к реке, но ни один из нас не следил за поплавком: все внимательно слушали Каллу, который читал статью из «Непсавы». Вдруг Альфред сильно толкнул Тичку в бок и, не поворачивая головы, шепнул:

— Осторожно! У нас за спиной наш историк Пинтер!

Меня сковал страх. Тичка же оказался намного смелее и находчивее. Он резко махнул рукой в сторону Каллы.

— Чепуха все это! Сплошные враки! В такой газете правду не напишут. Да и неинтересно несколько! Наше дело — гимназию кончить.

Калла и Фекете подняли головы и с удивлением уставились на Тичку.

— Преподаватель сзади, — шепнул им Тичка, показывая глазами в сторону.

— Нас это тоже несколько не интересует! — нарочито громко сказал Калла.

Этот отвлекающий маневр несколько смягчил ситуацию, но все же не отвел от нас всей беды. Господин Пинтер, охотившийся после первомайской демонстрации за «опасными элементами», как он обычно выражался, строжайшим образом запретил читать в школе стихи Эндре Ади. Проходя мимо нас, он посмотрел, какую газету мы читаем. Все мы, гимназисты, вскочили и вежливо поздоровались с ним. Калла и его друзья остались сидеть, как ни в чем не бывало. Калла продолжал вертеть газету в руках, недоумевая, как она к нему попала.

— Смотрите, клюет! — закричал вдруг Везеки, чтобы как-то отвлечь внимание Пинтера.

Все вскочили и побежали к удочкам. Однако и это не рассеяло подозрений господина Пинтера, который еще раз бросил подозрительный взгляд на брошенную Каллой газету и, злобно сверкнув в нашу сторону очками, погрозил нам пальцем.

В понедельник нас троих вызвал в преподавательскую наш классный руководитель и спросил, чем мы занимались в субботу возле старой мельницы в обществе каких-то незнакомых людей. К счастью, мы уже заранее договорились, как нам следует отвечать на подобные вопросы, чтобы не было путаницы. В один голос мы ответили, что никакой газеты не читали, парней,

что были рядом с нами, знать не знаем, просто они, как и мы, удили рыбу по соседству с нами и вслух читали какую-то газету. В этот момент в преподавательскую вошел господин Пинтер.

— Читали они «Непсаву»! Я видел это собственными глазами! Сидели они вместе с этими бродягами! — набросился на нас Пинтер.

— Не могли же мы запретить парням ловить рыбу у мельницы и читать газету, — начали возражать мы.

Господин Пинтер разошелся еще больше:

— Их нужно наказать самым строжайшим образом! А если мы установим что они лгут, то немедленно исключим из гимназии!

Выпалив это, он выскочил из преподавательской.

Господин Айтаи прочитал нам целую лекцию о «бездомных социалистах и бунтовщиках». К счастью, мы еще до этого разговора заметили, что среди самих педагогов гимназии не всегда царит согласие. С самого первого дня пребывания в гимназии господин Айтаи симпатизировал мне и, как можно было заметить, хотел выручить нас и на этот раз. Серьезно отчитав, он разрешил нам идти, но предупредил, что, если подобное повторится еще раз, все мы будем исключены из гимназии.

После этого случая мы на время прекратили всякие встречи. Тичка тайком давал нам газеты, которые каждый прочитывал где-нибудь в одиночестве.

Прошло довольно много времени, пока мы снова собрались все вместе, только уже не у старой мельницы, а в густом лесу.

Однажды ко мне домой прибежал Калла. Дяди Дюри как раз не было дома.

— Нам нужно немедленно собраться! Передай Тичке, Альфреду и остальным! — шепнул он мне.

Калла хотел было рассказать, что случилось, но в комнату неожиданно вошел дядя Дюри.

Я оповестил всех. На следующий день, под вечер, мы собрались в лесной чаще. Не говоря ни слова, Калла развернул свежий номер «Непсавы» и показал нам.

«В России вспыхнула революция!» — было набрано на первой полосе крупными буквами.

И тут же Калла пересказал нам эту статью, в которой говорилось о том, что после гибели русского флота под

Цусимой недовольство русского народа, находившегося под игом царизма, возросло и вылилось в революцию. Газета призывала всех своих читателей и население Будапешта выйти как один на демонстрации в поддержку русской революции.

Все были потрясены.

— Да здравствует революция! — выкрикнул Тичка. Мы подхватили.

— Вот это революция! Это тебе не тысяча семьсот восемьдесят девятый год! — поддел Каллу Тичка, который на сей раз и не собирался спорить.

Взволнованные и радостные, мы разошлись по домам, решив собраться на следующий день, чтобы узнать новости из свежего номера газеты и договориться, что же нам делать.

Я НАЧИНАЮ РАССЧИТЫВАТЬСЯ С КОХАРИ

Приближались экзамены на аттестат зрелости. Все лихорадочно готовились к ним. Я, Тичка и Альфред Вейс часто делились своими планами на будущее. Мне хотелось стать учителем. Альфред мечтал выучиться на инженера. Тичка доказывал, что профессия врача самая благородная на свете.

Своих планов мы не скрывали от Каллы и его друзей, советовались с ними. Наше общество продолжало существовать. Мы много читали, спорили, учились. Записали в наш устав еще один пункт — важные вопросы обсуждать только всем вместе.

Калла всегда поддерживал нас, а иногда, тяжело вздохнув, говорил:

— Если бы и я мог учиться! Каждому рабочему обязательно нужно учиться! — В голосе его слышались нотки сожаления. — Я тоже уеду из этого города. Все равно я здесь числюсь в черном списке. Поеду к Кальману. Он мне пишет, что на Чепеле можно легко устроиться кузнецом на завод.

Везеки и Фекете с неохотой слушали эти рассказы, так как сами не надеялись найти для себя работу в столице, а ехать туда наугад, да еще с семьей, не хотели. Оба решили остаться в городе и потихоньку заниматься распространением «Непсавы».

Мы торжественно поклялись оставаться друзьями и продолжать борьбу за свободу, даже если нам придется расстаться.

Однажды, когда я готовился к экзаменам, ко мне пришла Шарика и пожаловалась, что Кохари не дает ей проходу. Я видел, что, чем ближе приближались наши экзамены, тем нахальнее становился Кохари: гимназию он заканчивал на год позже нас, и все из-за того, что провалился на экзаменах в пятом классе. Чтобы как-то отомстить мне, Кохари начал приставать к Шарике. Однажды, надрываясь от смеха, он сказал своему другу Туроци, сыну нотариуса, с которым учился в одном классе:

— Деревенщина сейчас занят: у него скоро экзамены на аттестат, а я тем временем приволокнусь за его девчонкой.

Шарика за эти годы очень повзрослела и стала девушкой, красоте которой все дивились. Шарика говорила, что после окончания реального училища поедет в Пешт и поступит в университет.

Когда девушка рассказала мне о грубых выходках Кохари, я решил, что настало время проучить наглеца. Регулярные занятия гимнастикой не прошли даром: я стал сильным. Товарищи по классу побаивались меня. Чувствуя свою силу, я уже не боялся Кохари, а на его подлые выходки смотрел с презрением. Я знал, что он уже не рискнет больше тронуть меня. Тичка научил меня некоторым силовым приемам, так что я довольно легко мог справиться не с одним, а с несколькими мальчишками моего возраста. И теперь я только ждал случая расчитаться с Кохари.

Однажды мы находились на спортивной площадке. В гимназии был замечательный гимнастический зал, но весной, летом и осенью мы обычно занимались на открытой площадке, оборудованной в саду за собором. Расписание занятий планировалось так, чтобы на площадке одновременно могли заниматься два класса. Наш восьмой класс обычно занимался вместе с седьмым.

В тот день мы занимались на площадке для метания диска и копья. Я заметил, что Кохари обходит меня стороной. Он, видимо, чувствовал, что Шарика рассказала мне о всех его каверзах. Не ускользнуло от меня и то, что он, когда стал метать копье, посмотрел

на меня так, будто хотел проткнуть меня этим копьем насквозь.

Один раз он так метнул копье, что, если бы я вовремя не отбежал в сторону, оно попало бы мне в голову. Я поднял копье и медленно пошел к Кохари, чтобы расчитаться с ним.

Сначала он пошел прочь, но, сделав несколько шагов, остановился и, повернувшись ко мне, стал ждать, приняв вызывающую позу. Видимо, он решил, что ему, сыну крупного банкира, неприлично убегать от какого-то деревенского парня.

Я подошел к нему и с отвращением посмотрел в его зеленые глаза.

— Ты что, решил проломить мне голову?

Сначала Кохари ехидно усмехнулся. Потом дико захохотал. Я продолжал смотреть на него, но так, что он вдруг испугался моего взгляда и стал смотреть на меня с выражением ужаса в глазах. Потом засмеялся первым смехом и сказал:

— Сначала эта девица будет моей, а потом ты можешь делать с ней что угодно! — И побежал.

Однако далеко убежать ему не удалось, так как я одним прыжком догнал его, схватил за воротник, приподнял и, поставив перед собой, спокойно сказал:

— Слышишь ты, Кохари? Последнее время я не обращал на тебя внимания и даже начал забывать о твоих подлостях, но сейчас речь идет о девушке, до которой тебе нет никакого дела. Вот за нее-то я сейчас и расчитаюсь с тобой!

Взяв Кохари обеими руками за грудь, я с силой швырнул его на землю. Он громко застонал и хотел было вскочить на ноги, но не смог даже пошевелиться. Губы его дрожали, а изо рта вырывался писк.

Я встал ему на грудь коленом и начал спокойно и сосредоточенно наносить ему один удар за другим. Сначала Кохари кричал, но после нескольких ударов перестал и только всхлипывал, как побитая собака.

— Сейчас я заплачу тебе за все! — сквозь зубы цедил я, не переставая бить его.

Нас окружили ребята.

— Бей этого гада! Он всем проходу не дает! Так ему и надо! — раздавались голоса.

Несколько человек побежали в конец сада, где у

нас стояли гимнастические снаряды, чтобы сообщить преподавателю гимнастики, что я избиваю Кохари.

К нам бежал Балла. Ударив Кохари еще несколько раз, я остановился, увидев, что он лежит как мешок. Я встал, отряхнул руки, будто хотел стряхнуть с них грязь, и отошел от Кохари. Ребята со страхом, смешанным с уважением, расступились и пропустили меня.

Я отошел в сторону, чтобы немного успокоиться, как вдруг услышал чей-то голос:

— Ну, теперь этот гад Кохари получил сполна!

— Подожди, Коллар тоже свое сполна получит! — показывая на меня, заметил сын владельца паровой мельницы. — Его теперь не только до экзаменов не допустят, но еще и в тюрьму упрячут!

— Заткнись! — набросился на Фечке Йошка Торда.

Ко мне подошли Тичка и Альфред Вейс.

— Знаешь ли ты, на что это похоже? На первую крупную победу в классовой борьбе! — еще не остыв от волнения, выпалил Тичка.

Я попросил их извинить меня за то, что ввязался в эту драку.

— Как бы тебя и вправду не исключили из гимназии или не помешали сдавать экзамены. Теперь банкир Кохари весь город на ноги поставит! — волновался Альфред.

Тогда я, разумеется, не думал о последствиях. Мне даже легче стало, будто у меня с плеч свалился огромный камень. Я рассчитался с Кохари за все: и за Шарик, и за себя.

— Негодяй получил по заслугам! — потирая от удовольствия руки, воскликнул шедший позади нас Торда.

Затем он рассказал нам, что было с Кохари после того, как мы ушли. Кохари долго не мог встать на ноги. Из носа у него шла кровь. Учитель Балла поднял его с земли. Вид у Баллы был испуганный: ведь все это произошло на его уроке.

На следующий день, как этого и следовало ожидать, меня вызвали на педагогический совет. Утром в кабинет директора гимназии ворвался банкир Кохари. Из-за закрытой двери в коридор доносился его крик.

— Вы должны немедленно выбросить из гимназии эту деревенщину! — гремел Кохари.

На педагогическом совете председательствовал сам

директор гимназии. Когда он начал говорить, его плотная коренастая фигура вся сотрясалась от злости и гнева, а козлиная бородка ходила вверх и вниз. Я вошел в преподавательскую. Директор жестом приказал мне встать перед столом. Несколько секунд он молча колол меня своими вилами-глазами, потом зашипел:

— Ну, дорогой мой, можешь убираться носить навоз туда, откуда приехал. Понял? Носить навоз!

Позади меня стояли наш классный руководитель, преподаватель гимнастики и господин Пинтер, который бросал из-за толстых стекол очков угрожающие взгляды в мою сторону. «Вот, оказывается, чему ты научился у своих бродяг!»

И классный руководитель, и преподаватель гимнастики — оба стояли с угрюмыми лицами. Одному было жаль меня, так как я был лучшим учеником в классе, а преподаватель гимнастики ценил меня как легкоатлета, который на всех соревнованиях постоянно занимал первое место, принося лавры гимназии и, разумеется, ему тоже. Возможно, эти два обстоятельства и спасли меня от исключения из гимназии.

Нужно сказать, что я нисколько не жалел о случившемся. Спокойно рассказал членам педсовета все по порядку. Как Кохари бросил в меня копье, видели все ученики. Больше того, друг Кохари Денеш Тафальви признался, что он слышал, как Кохари, прежде чем метнуть копье, сказал: «Сейчас я запущу копье в эту деревенщину!» Наш классный руководитель господин Айтаи хотя и сильно ругал меня, но на вопрос директора, как я учусь, официальным тоном заявил:

— Начиная с первого класса он учится только хорошо.

А преподаватель истории заявил, что до сих пор мое поведение было безупречным и что он не понимает, как я мог сделать такое. Господин директор пытался сбить меня с толку своими вопросами, потом накричал и выгнал из кабинета, сказав, чтобы я ждал за дверью окончательное решение педсовета. Когда я шел к двери, то заметил, как господин Айтаи, отвернувшись в сторону, усмехнулся. Вскоре меня снова позвали и объявили, что мне выносится строгий выговор с занесением в классный журнал. Что же касается телесных повреждений, то этим должен заниматься суд.

Таким образом, к экзаменам на аттестат зрелости меня все же допустили.

Кохари же целые две недели сидел дома.

Когда после этого случая я в первый раз встретился с Шарикой и обо всем рассказал ей, она молча пожала мне руку, а ее красивые глаза засветились гордостью и признательностью.

ВЕСНА

В один чудесный весенний день после сдачи экзаменов мы с Шарикой не спеша прогуливались по широкой аллее за монастырем.

Тетушка Каролина разрешила нам в этот день побыть вместе. Отпуская нас, она сказала, что мы уже достаточно повзрослели, чтобы вести себя как следует и не сделать какого-нибудь необдуманного шага. Потом поинтересовалась, на какой факультет университета я хочу поступать. Я сказал, что хотел бы стать учителем, но тетушка возразила мне: адвокаты и врачи зарабатывают гораздо больше, а у учителя нет никаких перспектив в будущем; как же я на скромный учительский оклад собираюсь содержать семью? Я ответил ей, что об этом еще не думал, но уверен, что и на этом поприще можно сделать много полезного. Тетушка улыбнулась и повторила еще раз, что адвокатская должность дает больше доходов и открывает путь для широкой общественной деятельности: адвокат легко может стать депутатом парламента и даже министром.

— Ну, а теперь идите погуляйте, поговорите на прощание. Шарика тоже скоро поедет поступать в университет. Правда, сейчас девушек не очень охотно принимают туда, но эта отсталая точка зрения уже не отвечает духу нашего времени,— заметила тетушка Каролина и добавила, что у них в Пеште есть связи, с помощью которых они и устроят Шарику в университет. Девушка задумчиво глядела на тетушку, потом перевела взгляд на окно.

Мы пошли погулять по монастырскому парку. На Шарике был новый костюм. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди от одного только вида девушки, хотя я довольно часто, два-три раза в неделю, бывал у них в доме, обедал, а иногда заходил просто так.

Когда мы шли по городу, я заметил, что многие прохожие оглядываются на Шарику. Это наполняло мое сердце гордостью. Мне казалось, что и солнце, и густая листва деревьев с улыбкой смотрят на нас, а легкий ветерок шаловливо шепчет что-то ласковое.

В парке народу было очень мало, так что временами мы оставались совершенно одни. Птицы весело приветствовали нас своими трелями, но мы, казалось, ничего не замечали и шли, держась за руки и прижавшись друг к другу. Шли не спеша, не говоря ни слова, разглядывая дрожащие солнечные блики и слушая звенящие гимны птиц.

У меня от волнения перехватило дыхание, и я долго не мог произнести ни слова. Я видел только лицо Шарика, ее большие глаза. Шарика тоже не могла говорить. Дойдя до середины аллеи, мы вдруг остановились и оглянулись. Кругом не было ни души. Еще раз посмотрели друг другу в глаза. Во взгляде девушки я прочел теплоту и одобрение.

— Как здесь чудесно, правда? — с трудом выговорил я после долгого молчания.

— Да, очень красиво.

Счастливые, мы медленно пошли дальше. Потом снова остановились.

Неожиданно радостный блеск в глазах Шарика погас, и на лицо набежала печаль. Чтобы как-то развеселить ее и утешить, я сказал:

— Скоро и ты сдашь экзамены, получишь аттестат зрелости, приедешь в Пешт и тогда... — Тут я запнулся. — И тогда мы будем всегда вместе...

Шарика наклонила голову.

— Кто знает...

— Почему?

— Может, меня и в университет-то не примут, — после паузы ответила девушка и посмотрела на меня. Во взгляде ее сквозила тревога.

Я привлек девушку к себе и, не говоря ни слова, погладил ее по лицу. Потом сказал:

— Не бойся, я не дам тебя в обиду!

— Но что ты можешь сделать один против целого мира?

Я молчал, судорожно подыскивая слова, которыми можно было бы утешить девушку. Невольно вспомнил

сильные руки Кальмана и Яноша, у которых сам еще не так давно искал защиты. Я еще крепче прижал Шарiku к себе, и мы пошли дальше.

— Смотри, как свободна природа. Таким же свободным должен быть и человек!

Шарика посмотрела на меня и, увидев румянец на щеках и огонь в глазах, чуть заметно улыбнулась.

Мы пошли дальше. Шарика, казалось, успокоилась. Лицо ее снова засветилось радостью.

Мы еще теснее прижались друг к другу, и через несколько мгновений наши дрожащие губы слились в поцелуе. А в душе все пело и ликовало.

ЧИКОШИ

С шестьюдесятью кронами в кармане я отправился в Пешт. Шестьдесят крон! Столько стоили слезы и причитания всей нашей семьи: пришлось продать единственного поросенка, оставленного для откорма, чтобы я мог поступить в университет. Этих денег мне должно было хватить до тех пор, пока я не найду себе какого-нибудь заработка. Господин Айтаи порекомендовал мне зайти в Пеште к одному своему другу, который работал в статистическом управлении. Приехав в столицу, я первым делом разыскал этого человека. Он поддержал меня морально, сказав, что, возможно, мне удастся получить какую-нибудь работу у них в управлении. Но хватит ли мне до того времени моих шестидесяти крон? Я даже не знал, чем заплатить за поступление в университет.

Целый день я бродил по городу в поисках квартиры, но за нее требовалось заплатить на десять крон больше, чем было у меня.

Невольно я вспомнил о Кальмане. Вот если бы мне его сейчас разыскать! Может быть, он помог бы мне найти недорогую квартиру. Когда я уезжал из Ясвароша и прощался с Каллой, он сказал мне, что Кальман работает на мебельной фабрике. Но его точного адреса он не знал. Сказал только, что он живет где-то в Андьялфёльде. Я даже не знал, что такое Андьялфёльд. Когда же поинтересовался, мне сказали, что это пригород Будапешта, где живут рабочие.

Я бродил по улицам, разглядывал таблички домов, читал объявления на воротах: «Сдается комната». Ско-

ро уже по одному почерку, которым было написано объявление, я мог понять, подойдет мне эта комната или нет. Чем дальше я шел, тем чаще попадались мне объявления: «Сдается угол». Что такое «угол», я еще точно не знал. Когда увидел несколько таких объявлений, решил зайти в один из домов и посмотреть, что же такое «угол». Я бродил около Восточного вокзала и уже решил, если не удастся до ночи найти ночлег, заночевать на вокзале в зале ожидания. Чемодан я оставил в камере хранения, чтобы не таскаться с ним по городу.

На улице Гернад я зашел в дом, на воротах которого висело несколько объявлений: «Сдается угол». Поднялся на четвертый этаж. От лестничной клетки на каждом этаже отходил круглый коридор. Двор был похож на большой грязный колодец, заполненный несущимися из окон всех этажей криками. Крики эти перемешались с гулом двора. Временами весь этот гвалт перекрывала громкая ругань.

— Пошли своего щенка в парк, — визжала какая-то женщина, — пусть там играет в свой мяч, а не у меня под окном!

— Сама бы пошла погуляла по набережной Дуная с господами! — кричал кто-то в ответ с третьего этажа. — И поорешь там! Там хоть полиция тебя услышит! А то всегда орешь громче всех! Из-за твоего крика люди после ночной смены уснуть не могут!

— Если твой муженек не может спать в этом доме, переезжайте в гостиницу «Риц»! — не успокаивалась женщина с нижнего этажа.

Эту перебранку дополнял нестройный хор голосов детей, которые гоняли во дворе мяч. Вскоре к ругани двух женщин присоединился визгливый голос.

Когда наконец эта перебранка на мгновение затихла, откуда-то снизу вырвался женский плач:

— Боже, покарай этого мерзавца! Умереть бы, что ли, скорей!

— Хорошо, вот стану графом, тогда и накормлю всех шестерых твоих щенков! А то ограблю кого-нибудь! Тебе тогда лучше будет, да? — слышался сердитый мужской голос.

Словесная дуэль, которую вели эти люди, измученные горем и нуждой, заглушила ругань, доносившуюся со двора.

Я остановился перед тридцать третьей квартирой и стал искать кнопку звонка, чтобы позвонить, но на грязной стене с облупленной штукатуркой была только черная выбоина, в которой когда-то давным-давно был звонок. Я постучал.

Дверь открыла худая женщина средних лет с испытанным лицом и плоской, как доска, грудью. На изможденном лице застыло выражение печали и тупого безразличия.

Она сразу догадалась о цели моего прихода и тихим, усталым голосом спросила:

— Хотите посмотреть угол?

И, словно извиняясь, добавила:

— Не знаю только, подойдет ли он вам. В дневную или ночную работаете?

Я не сразу понял, о чем она спрашивает, и, смутившись, сказал:

— Я приехал из деревни поступать в университет.

— А я думала, что вы работаете. Поэтому и спросила о смене.

Я не стал ни о чем расспрашивать женщину. Даже не сказал, что у меня очень мало денег.

— Я хотел бы посмотреть... — робко начал я.

«Если она не сдаст мне комнату, то, быть может, сдаст койку. Мне и это будет хорошо, пока не найду что-нибудь более подходящего», — подумал я.

Женщина впустила меня в кухню, небольшую, но чистую. На газовой плите что-то кипело в большой металлической кастрюле.

— Раз уж вы все же решили посмотреть, подождите немного. С ночной еще не встали. Присаживайтесь, пожалуйста! — засуетилась хозяйка.

Она поставила мне стул, смахнув с него пыль рукой. Я сел и, чтобы как-то скрыть свое замешательство, начал объяснять:

— С меня хватит и койки. В университет приехал учиться. Родители мои тоже бедные люди...

Мы смотрели друг на друга так, будто были родственниками. Голубые глаза женщины сразу подобрели. Я стал чувствовать себя как-то спокойнее и увереннее, будто оказался у себя дома. Хозяйка подошла к плите и сняла с огня кипящую кастрюлю. Запахло кофе.

Внезапно дверь в кухню с шумом распахнулась, и влетели сначала четверо, а потом еще двое ре-

бятишек, один оборванноее другого. Женщина глухим, нервным голосом закричала на них:

— Сколько раз я буду говорить, чтобы вы не врывались так в кухню? Вы что, не знаете, что люди после ночной спят?

Детишки притихли и, сгрудившись вокруг матери, спросили в один голос:

— Нам тоже дашь кофе на ужин?

— Дам, только чтоб тихо было. Не видите разве, что у нас гость?

Детишки, смотревшие до этого только на кастрюлю с кофе, казалось, даже не заметили меня. Теперь же на меня уставились шесть пар любопытных глаз. Но только на один момент. Потом один из них объяснил:

— У нас всегда гости, когда ты сдаешь койку новому жильцу.

И снова внимание детей приковала кастрюля с кофе.

Неожиданно дверь справа отворилась, и в кухню, низко наклонив голову, чтобы не удариться о косяк, вошел лохматый полуодетый мужчина атлетического сложения. Заспанные глаза и одежда говорили о том, что он только что встал с постели.

— Доброе утро, вернее, добрый вечер, Теренине! — хриплым голосом поздоровался он.

Мужчина потянулся, достав руками до плафона, потом лениво зевнул и добавил:

— Кому утро, а кому и вечер. Черт бы побрал эту проклятую жизнь!

Подошел к водопроводному крану и плеснул в лицо несколько пригоршней воды. Снял с гвоздя довольно грязное полотенце и начал вытирать лицо.

— Эти разбойники опять, наверное, рано вас разбудили? — спросила его хозяйка, выпроваживая детишек с кухни.

— Не обижайте их, Теренине, я их так люблю, будто все они мои. — И, подхватив одного из мальчишек, мужчина поднял его к потолку.

Счастливый малыш барахтался в воздухе.

— Дядя Пете, вышел! Еще выше поднимите! — звенел голосок мальчугана.

Мужчина-атлет только сейчас заметил меня. Поставил ребенка на пол и, обращаясь к хозяйке, спросил:

— Новый жилец на освобождающуюся койку?

Ответа не последовало, так как в этот момент из соседней комнаты вышло еще несколько мужчин. Пока они торопливо умывались, хозяйка налила всем по чашке кофе, который они быстро выпили. Потом мужчины скрылись на несколько минут в комнате и появились вновь, кто с чемоданчиком для инструмента в руке, кто со свертком под мышкой, и ушли на работу. Детишки подняли невообразимый гвалт, прося налить им кофе. Мать дала каждому по маленькому кусочку хлеба и по полстакана кофе.

— После ужина разрешаю вам полчаса поиграть на площади. Но смотрите, если вовремя не вернетесь, отец вас отстегает.

Молниеносно проглотив свой ужин, детишки с шумом выбежали в коридор, а хозяйка пошла в комнату. Через несколько минут она пригласила меня войти. В комнате стояли четыре кровати, стол, шкаф и три стула.

— Вот эту койку я и сдаю, — сказала хозяйка, показывая на кровать у окна. Было видно, что она ее только что на скорую руку заправила. — Но только на ночь, так как днем на ней спят.

Ошеломленный, я огляделся по сторонам. Только сейчас я начал понимать, что такое ночная и дневная и что такое «угол».

Заметив мое замешательство, женщина начала оправдываться:

— Ну вот, видите, я же говорила, что вам у нас не понравится. Вам нужно учиться, а здесь нет условий.

— Да... правда... — запинаясь, согласился я.

Хозяйка перехватила мой взгляд и тоже начала оглядывать комнату, словно осуждая свою жизнь.

— Я знаю на улице Мурани одну семью. У них две комнаты и семья не такая большая. Может, они сдадут вам маленькую комнатку. Как раз позавчера я разговаривала с хозяйкой. Она говорила, что, если бы попался серьезный молодой человек, они сдали бы маленькую комнатку.

Я с благодарностью выслушал, как мне найти эту семью, и, взяв адрес, поспешно вышел. Ноги у меня словно свинцом налились. На сердце было тяжело. Казалось, что крылья, на которых я с таким воодушевлением летел в Пешт с аттестатом зрелости в кармане,

обрубили топором, которым мясник в лавке разделывает коровью тушу.

На улице Мурани я легко нашел нужный мне дом. Он был большой, четырехэтажный, выкрашенный в грязно-коричневый цвет.

В квартире тридцать девять, выходившей прямо на улицу, звонка не было. Вместо него рядом с дверью была железная вертушка, которую я повернул несколько раз. Дверь открыла чисто одетая женщина средних лет с серьезным выражением лица и спросила, что мне нужно. Когда я сказал, что меня прислала к ней Теренине с улицы Гернад, лицо женщины прояснилось и она тихо предложила:

— Войдите, пожалуйста.

Увидев просветленное лицо хозяйки, я забыл об усталости и плохом настроении. Вспомнил теплый взгляд голубых глаз Теренине, у которой почувствовал себя словно дома. Невольно вспомнил Тому и Қаллу.

Я назвал свою фамилию и сказал о цели своего прихода. Женщина понимающе улыбнулась и назвала себя. Ее звали Шипош Каройне. Муж ее, как выяснилось, работал на заводе.

— Вот хотим облегчить свое положение и сдать маленькую комнатку, если попадется хороший человек. Пожалуйста, войдите в комнату и посмотрите. Муж сейчас придет, — объяснила хозяйка.

Она провела меня в маленькую чистую комнатку с окном, выходящим на улицу. В комнате стояли кровать, покрытая зеленым одеялом, узкий шкаф, небольшой стол и два стула. Свободного места в комнате почти не было, но она выглядела довольно уютной. За комнату она запросила двенадцать крон, но, заметив мое сразу же опечалившееся лицо, добавила, что сейчас придет муж и, быть может, он согласится сдать комнату за десять крон.

Скоро действительно вернулся с работы сам Шипош, худощавый мужчина среднего роста. Вид у него был усталый. Он поставил на пол ящичек с инструментом и сел.

— Этот молодой человек хотел бы снять у нас маленькую комнатку, — объяснила ему жена.

Шипош внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Ну что ж, если порядочный человек...

Видимо, я понравился ему. Когда же жена объяснила ему, что я студент, он совсем успокоился.

— Словом, образованный человек, — сказал он. — Таких нужно уважать.

Шипош на секунду задумался и добавил улыбаясь, будто просил у меня прощения:

— Когда они нас уважают. Я в свое время тоже хотел было учиться, но сыну рабочего это не по карману.

Мы сговорились на десяти кронах. Когда же Шипош узнал, что я хочу стать учителем, он пошутил:

— Вот станете учителем, тогда и заплатите нам разницу.

Я пошел на вокзал за чемоданом.

Спускаясь по лестнице, я вдруг остановился и отшатнулся в сторону, увидев на ступеньках чью-то темную, стоящую на четвереньках фигуру, которая будто что-то искала на полу. В тусклом свете лампочки не сразу можно было разобрать, что это такое. По виду, это был человек. Фигура забормотала что-то. Потом я разобрал обрывки отдельных слов. Человек тянул одну руку вверх, пытаясь схватиться за перила, а другой опирался о пол, чтобы не упасть. Наконец рука, которой человек искал перила, безжизненно упала, и он оперся ею о пол, а другой рукой, с большим трудом подняв ее, снова стал искать перила, сердито бормоча:

— Мать бы вашу... забрал! В собственную квартиру не хотите меня пускать, да? Хотите меня выбросить... выбросить на улицу за то, что я не уплатил за квартиру... А если у меня нет денег?.. Если я так мало получаю, что...

Последних слов мужчина не договорил: он наконец ухватился за перила и привстал, но ноги соскользнули у него со ступенек, и он упал на пол животом. Начал ощупывать свои карманы, вытащил из одного кармана бутылку, с трудом сел прямо на лестнице, поднял бутылку и забормотал, скрипя зубами:

— Вот я как ударю этим мастером! Опять сделал на меня начет... Ограбил меня, негодяй!.. Так они обращаются с рабочим людом! А я не могу... заплатить за квартиру... Не могу накормить досыта хлебом своих малышей... А их у меня семеро...

Мужчина хотел засунуть бутылку снова в карман,

но это ему не удалось. Тогда он поставил бутылку на ступеньку и снова попытался встать.

Я в недоумении стоял в стороне и слушал его ворчание.

— Вот я сейчас выпил... А что мне делать? Осточертела такая жизнь, будь она проклята... Не могу купить малышам даже по рубашке...

Мужчина уставился своими затуманенными глазами в пространство и чуть слышно, почти шепотом заговорил. Казалось, он рассказывал сон, который ему снился уже не раз:

— Ты подожди, женушка, подожди немного... И вы, мои маленькие, подождите!.. Будет и у вас прекрасная-распрекрасная квартира... Кровать настоящая... А на шкафу будут стоять цветы... Тебе, жена, я куплю красивое платье, такое красивое, что герцогиня позавидует... А вам, мои цыплятки, самые красивые костюмчики... И каждый день будем три раза есть, досыта... курицу... нет... гусятину... Надо же когда-нибудь в этой проклятой жизни и рабочему человеку досыта наесться?..

Внезапно он перестал говорить и запел:

У меня большая радость —
Рассчитался я с бедой...

Он несколько раз повторил куплет, потом вдруг неожиданно замолчал, задумчиво посмотрел в пустоту и, уронив голову на колени, стал всхлипывать, содрогаясь от рыданий.

Я пошел разыскивать привратника.

Когда через несколько минут мы с привратником подошли к мужчине, он безутешно рыдал. Привратник приподнял пьяному голову и удивился:

— Коллега Чикош, вы ли это?! Что с вами? Сколько я вас знаю, вы никогда не возвращались домой в таком виде!

Чикош смотрел на привратника затуманенными глазами и не узнавал его. Привратник снова наклонился над пьяным.

— Ну, пошли отсюда! — ласково сказал он, подхватывая Чикоша под мышки, чтобы поднять его.

Мы с трудом втащили мужчину на четвертый этаж. Привратник громко застучал в дверь. Через секунду на пороге показалась худенькая женщина. Увидев мужа,

которого мы поддерживали под руки, она запричитала:

— Боже мой, что случилось? Уж не под машину ли он попал?..

Однако скоро она поняла, что произошло с ее мужем, и громко, навзрыд заплакала.

— Простите, Чикошне, при такой жизни подобное может случиться с каждым, — утешал ее привратник.

— А завтра я не смогу дать детишкам даже по куску хлеба! — жаловалась женщина прерывающимся от рыданий голосом.

Чикош обеими руками что-то искал в карманах.

— Не ругай меня за это, женушка... Как так не будет куска хлеба? Смотри, я всю сдачу домой принес! — успокаивал ее муж. Он вытащил из кармана руку, в которой зажал мелочь, и протянул ее жене. Шатаясь, Чикош переступил порог и вошел в комнату, из которой все еще доносились сдавленные рыдания женщины. Они были слышны даже тогда, когда я осторожно закрыл дверь их квартиры и вышел.

Я долго не мог успокоиться.

ЧЕТЫРЕХОСНЫЙ ЭКИПАЖ

— А вот еще один деревенский аист! — проговорил чей-то насмешливый голос.

Я стоял в университетском вестибюле и ждал, когда очередь дойдет до меня: пришел записываться в университет. Одну руку я все время держал в кармане, сжимая в кулаке деньги, которые нужно было уплатить при поступлении в университет.

Услышав эту наглую реплику, я даже не подумал, что она относится ко мне.

— А ну-ка, выкинь его из очереди! — предложил другой голос.

Вдруг кто-то ударил меня кулаком по спине.

— Ты, аист, оглох, что ли? Не знаешь разве, что первакам место в хвосте? В первую очередь проходят третьекурсники и четверокурсники! — прошипел кто-то над моим ухом.

И в тот же момент я почувствовал, как чьи-то цепкие руки схватили меня за шиворот и стали выталкивать из очереди. Где-то сзади послышался хохот.

Я с испуганным и беспомощным видом обернулся назад, не понимая толком, о чем мне говорят. «Наверно, здесь такой порядок», — решил я. Прямо передо мной торчала красная, пышущая здоровьем, хохочущая физиономия парня в серой шляпе, из-под полей которой на меня нагло смотрели серые глаза. Длинными пальцами левой руки парень поглаживал свои усики, а в правой держал белые перчатки. Позади парня стояли четверо модно одетых молодых людей, которые ехидно хихикали и ждали, когда парень в шляпе толкнет меня еще раз. Вызывающие взгляды парней и их ухмыляющиеся лица возмутили меня. Видимо, в моем взгляде было столько ненависти, что молодой человек в шляпе вдруг перестал разглаживать свои щегольские усики. Огоньки злости и ненависти в моих глазах заплесали сильнее.

— Уж не испугался ли ты этого деревенского бычка? — подбадривал моего обидчика какой-то парень.

Все с пренебрежением смотрели на мой поношенный костюм, который я купил в Ясвароше перед отъездом в Пешт. Правда, дядя Дюри немного переделал его и как следует отутюжил, но костюм как был поношенным, так и остался. Взгляды парней на какой-то миг смутили меня.

— Ну что ты на меня уставился как баран на новые ворота? — снова набросился на меня парень в шляпе. — Здесь такой порядок: аисты и деревенские буйволы становятся в хвост!

И он снова хотел толкнуть меня.

Наши взгляды скрестились. Глазами мы уже начали борьбу. Мгновенно я схватил протянувшуюся ко мне руку и, сделав энергичное движение, выбросил парня из очереди с такой силой, что он упал. На остальных парней бросил строгий взгляд, и смех моментально сбежал с их лиц.

Все повернулись ко мне, а один парень, видно из господ, возмущенно закричал:

— Да это же скандал! Какой-то деревенский увальень осмелился затеять драку в университете!

— Вздуть его как следует! — закричали другие.

Но, посмотрев на лежавшего на полу парня, ни один из них не отважился подойти ко мне. Парень тем временем встал на ноги. Было видно, что ему хотелось ощу-

пать себя, но он постеснялся сделать это и предпочел скрыться за спинами друзей.

— Мы еще посчитаемся, — со злостью пробормотал он.

Постепенно шум утих, и я начал беспокоиться, как бы этот инцидент не сказался на моем поступлении в университет. Скоро очередь дошла до меня, и я подошел к окошку регистратуры, где у меня взяли документы и заявление, в котором я просил освободить меня от платы за обучение. Заплатил вступительный взнос, и меня тут же внесли в списки. Записался я на юридический факультет, так как студенты этого факультета могли не посещать некоторых лекций, а для меня это было очень важно: я мог в это время заработать себе на пропитание.

Шел 1908 год.

Счастливый, шагал я по огромному городу и так смотрел на прохожих, будто все они должны были знать, что меня только что приняли в университет. Мысли мои витали где-то в облаках.

Я не знал, куда иду. Просто шел по улицам, не переставая удивляться, как велик Будапешт и какое море людей живет в нем. Мне казалось, что я плыву по гребням волн этого безбрежного моря. Однако в этой огромной массе людей я чувствовал себя очень одиноким. Если бы вместе со мной были Тичка, Альфред, Кальман!

Улицы, по которым я шел, становились все богаче, витрины, которые рассматривал, — все шикарнее. В них красовались такие чудесные вещи, которых я сроду не видел. Великолепные платья, ослепительно белые сорочки, блестящие лаковые туфли, сапоги и целое море безделушек. А кругом не спеша прогуливались красивые дамы, разодетые в шелка и бархат, важные господа во фраках и цилиндрах, элегантные офицеры в мундирах, украшенных золотым шитьем.

По улице катили коляски, в которых сидели важные господа и дамы.

Словно зачарованный смотрел я на эту пеструю, сверкающую толпу. Временами какой-нибудь господин или дама нет-нет да бросали на меня беглый презрительный взгляд, а некоторые из них даже отшатывались, чтобы случайно не коснуться моей старенькой одежды. Глядя на все это великолепие, я невольно вспомнил дру-гой мир, с которым только что познакомился во дворах

на улицах Гернад и Мурани, вспомнил душевные квартиры, в которых сдаются углы и койки, и в ушах моих зазвенели слова песни, которую прерывающимся от рыданий голосом пел пьяный Чикош:

У меня большая радость —
Рассчитался я с бедой...

К действительности меня вернули громкие выкрики разносчиков газет:

— Забастовка на заводе «Тед»! К бастующим присоединяются рабочие всех мебельных фабрик! Правительство принимает действенные меры против бастующих!..

Я невольно вспомнил о Кальмане: ведь он тоже работал на заводе «Тед». Может быть, я его все же найду.

Мимо меня пробежал другой разносчик газет и во все горло прокричал:

— Новые военные приготовления на Балканах! Новые военные приготовления на Балканах!..

Однако важные господа и дамы не обращали внимания на эти выкрики, и только офицеры громко звенели шпорами.

Я не заметил, как подошел к парламенту. С восхищением смотрел на великолепное здание парламента, украшенное множеством ажурных башенок. Так вот какой он, парламент! Передо мной то и дело проносились богатые кареты, в которых восседали господа во фраках.

— Посмотри-ка, вон вылезает из кареты граф Альберт Аппони! — воскликнул кто-то из прохожих.

— Вон там Векерле! Рядом с ним экипаж Дарани! А вон та четырехосная карета — графа Вештетича! Это точно он. Один раз я видел его совсем близко, — заметил другой.

— Вон подъехал герцог-примаш! Наверное, будут обсуждать вопрос о стачках или о военных приготовлениях.

— А может, о роспуске парламента и новых выборах.

Важные господа медленно вылезали из своих экипажей и степенно, чтобы не уронить собственного достоинства, поднимались по широкой лестнице парламента, покрытой толстым пурпурным ковром.

А я все смотрел и смотрел на них, пока меня не замутило и к горлу от усталости не подступила тошнота.

Пошатываясь, я шел по улице Алкотмань, по которой в сторону парламента мчались все новые и новые роскошные экипажи. Словно в полусне я решил перейти на другую сторону улицы.

Неожиданно за моей спиной раздался женский визг, потом мужской крик и ругань.

— Ты что, скотина, заснул, что ли, на дороге? — донесся до меня грубый окрик. Мимо, чуть не сбив меня с ног, промчался роскошный четырехосный экипаж.

— Смотри-ка, сам граф Иштван Тиса покати! — заметил кто-то из прохожих, показывая вслед промчавшейся карете.

ГОСПОДИН ПАПАИ

Профессор кафедры уголовного права д-р Абраам слыл среди студентов, особенно среди бедных, человеком довольно прогрессивных взглядов. Когда я пришел к нему на первый коллоквиум, он сдвинул на лоб свои очки в золотой оправе, нахмурился и смерил меня с ног до головы внимательным взглядом.

— Хотите учиться на казенный счет? — коротко спросил он.

И, снова водрузив очки на нос, склонился над лежащей перед ним книгой, будто и не собираясь спрашивать меня. Посмотрел на свою черную козлиную бородку, и по его заросшему щетиной лицу пробежала хитрая усмешка. Выслушав его неожиданный вопрос, я пришел в замешательство и не смог сразу ответить.

— Ну-с, господин студент? — забарабанил по кафедре д-р Абраам.

— Да, господин профессор, я хотел бы добиться освобождения от платы за обучение.

Д-р Абраам погасил на лице беглую улыбку, откинулся на спинку стула, осмотрелся, будто хотел убедиться, что мы с ним одни в аудитории, и тоном преподавателя, экзаменующего студента, спросил:

— Ну, тогда расскажите мне, что вы знаете лучше всего. Например, о преступлениях против частной собственности,

А чтобы я не подумал, что он собирается делать по-блажки, уже более строгим тоном добавил:

— Не скажете ли вы мне, какое преступление в настоящее время встречается чаще всего?

— Хищение государственной и частной собственности, — скороговоркой выпалил я и начал подробно объяснять, какие преступления могут быть отнесены к данной группе преступлений и как они наказуются по закону. Не успел я сказать и половины того, что собирался, как профессор перебил меня:

— Прошу вас, довольно. Я вижу, вы как следует проштудировали материал! Пожалуйста, вашу зачетную книжку!

Я подал ему зачетку. Профессор поставил мне «хорошо», что уже давало мне право на освобождение от платы за обучение. Отдав мне зачетную книжку, профессор встал из-за стола. Я начал было благодарить его, но он грубо оборвал меня:

— За что вы меня благодарите? Я вам, господин студент, никакой любезности не оказывал. Вы прекрасно знаете материал. Можете идти!

Я быстро пошел к двери.

— Господин студент, подождите, — остановил меня профессор, прежде чем я успел дойти до двери.

Обернувшись, я увидел, что профессор снова осматривает меня. Я подошел к кафедре.

— На какие средства вы живете?

Я пришел в замешательство.

— Собственно говоря... иногда даю уроки...

— Понимаю! Значит, свежим воздухом питаетесь, не так ли? Приходилось ли вам когда-нибудь работать в государственном учреждении? Вижу, не приходилось... Ну-с, это не беда. С такой работой вы прекрасно справитесь. Правда, я не знаю, сколько вам будут платить. Мне недавно звонили из статистического управления. Просили прислать к ним какого-нибудь студента поработать. Обратитесь там к д-ру Винклеру!

Я с удивлением смотрел на профессора и опять хотел было благодарить его, но он перебил меня:

— Можете идти!

Протерев стекла очков, он вышел из аудитории.

Ничего не понимая, я постоял немного и пошел в статистическое управление, где меня тотчас же оформили

внештатным регистратором с окладом двадцать семь крон в месяц. В разговоре со мной д-р Винклер сказал, что если я буду перерабатывать, то смогу заработать еще пять-шесть крон.

Позднее я не раз встречался с профессором д-ром Абраамом в научном обществе и в кружке Галилея, где прогрессивно настроенные преподаватели читали лекции, которые не раз запрещались полицией. Сам профессор Абраам уже давно находился под надзором властей за «деятельность, несовместимую с его профессией».

Двадцать семь крон, которые я ежемесячно получал в статистическом управлении, были для меня спасительными: мне не пришлось бросать занятия в университете и уезжать домой.

Моя работа в управлении заключалась в том, что я должен был сортировать картотеку, составленную на владельцев однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Однокомнатных квартир в Будапеште было такое множество, что стоило мне разложить карточки одного-двух районов, как у меня голова пошла кругом. В районах, расположенных на окраине города, где жили рабочие, почти не было двухкомнатных квартир, а трехкомнатных тем более. Разложив карточки жителей в зависимости от того, сколько комнат они занимали, я должен был определить плотность населения каждой однокомнатной квартиры, включая лиц, снимающих в них углы и койки. Стоило мне собрать данные всего лишь о нескольких улицах, как все эти комнаты со своими жильцами и койками заходили у меня перед глазами ходуном, слившись в огромное море; каждая клетка моего мозга переворачивалась вверх тормашками, а сердце сжималось от боли. И вся эта пляска святого Витта сопровождалась адским шумом. Мне казалось, что я снова слышу рыдания пьяного Чикоша, оплакивавшего свою бедность на ступеньках лестницы.

Я поднялся и стал устало смотреть на уйму разложенных на столе статистических карточек. Голова кружилась. Однажды я увидел, как начальник отдела д-р Папани, водрузив левой рукой на нос очки, нет-нет да и посмотрит на меня. Заметив, что он наблюдает за мной, я подносил пальцы ко рту, слюнявил их и с неестественной быстротой начинал перебирать карточки. Только бы не потерять этот заработок!..

Через несколько недель я раскладывал карточки квартир, расположенных в центре города. Это были квартиры из четырех, пяти, шести и даже больше комнат. Потом пошли настоящие дворцы. Несколько дворцов, в которых жило всего по два-три человека, не считая многочисленной прислуги, учеников, горничных, ютившихся в жуткой тесноте в подвалах. К немногочисленным жильцам таких дворцов можно было причислить лишь собак и кошек, каждая из которых имела отдельную комнату.

Мне снова приходилось вставать, чтобы унять головную боль и головокружение. Не отрывая взгляда от карточки, заведенной на подобный дворец с двумя-тремя жильцами и собаками с кошками, я невольно попадал под власть бурных мыслей.

Как-то, будучи во взбудораженном состоянии, я не заметил, как ко мне подошел господин Папай и, остановившись за моей спиной, тонким, почти детским голосом вернул меня к действительности:

— А вы, коллега, немногого у нас достигнете, если будете так работать!

В голосе моего начальника не было ни грубости, ни официальности. Скорее, в нем угадывалась отеческая озабоченность. Ничего не понимая, я посмотрел господину Папай в лицо. С тех пор как я стал работать в управлении, я еще никогда не видел так близко его лица. Сухощавое, начинающее стареть лицо, довольно широкий лоб. Уши чуть-чуть крупнее, чем следовало бы, торчали в разные стороны. Очки в темной роговой оправе придавали господину Папай несколько комичный вид. Из-под очков кротко и умно смотрели синие, как васильки, глаза. Когда я издали посмотрел на господина Папай, сидящего за письменным столом, он, заметив это, быстро склонился над своими бумагами. Казалось, он боялся посмотреть мне в лицо. Вот и сейчас, когда я, сильно смутившись, ждал, что господин Папай сделает мне выговор за плохую работу или вообще откажется от моих услуг, он обеими руками начал поправлять свои очки в массивной роговой оправе, так что я не мог видеть его глаз.

— Я вижу, молодой человек, что статистика не для вас, — придав своему голосу возможно строгий тон, начал он.

«Сейчас он откажет мне в месте!» — подумал я с тревогой.

— К слову говоря, молодой человек, статистика — интересная наука. При желании, когда человек как следует познает эту науку, он может научиться очень и очень многому.

Сняв очки, Папай протер их и с любопытством спросил:

— Вы, конечно, не собираетесь бросать занятия в университете? Просто вам нужно подработать на жизнь? Д-р Винклер говорил мне об этом.

Когда д-р Папай заговорил об университете, в голосе его послышалась скрытая горечь.

— Да, я хотел бы окончить университетский курс полностью.

— В таком случае постарайтесь сосредоточиться и хорошо закончить свою работу. Позже, возможно, будете зарабатывать больше.

И он снова вернулся к своему столу. Когда же рабочий день кончился и все ушли домой, я, чтобы заработать несколько лишних крон, остался. Господин Папай внимательно посмотрел на меня из-под очков и поучающим тоном сказал:

— Не спору, кое-кому статистика может показаться сухой... — начал он и неожиданно замолчал.

Я почувствовал себя неловко.

— Да, но за ней, господин Папай...

— За ней стоят живые люди, молодой человек. Неопровержимые и беспощадные... А если взглянуть на эти данные повнимательней...

Он замолчал и боязливо огляделся, словно хотел убедиться, что мы одни в комнате.

— Но ведь это настоящее безумие — втаптывать сотни тысяч людей в грязь! — негодовал я, показывая рукой на картотеку.

— Не сотни тысяч, а миллионы, — тихо поправил господин Папай, оглядываясь еще раз.

— Разве нельзя им помочь?

Господин Папай встал, подошел ко мне и заговорил еще тише.

— Видишь ли, сынок, чтобы все это как-то изменить, нужно вверх дном перевернуть весь... весь... этот... — начал было он, но, не окончив предложение, по-воровски по-

смотрел на дверь и продолжал, но так тихо, будто открывал мне тайну какого-то заговора. — Для этого нужно перевернуть вверх дном все наше общество.

И он так посмотрел на меня, будто боялся, что я стану возмущаться или выдам его. Я же смотрел на господина Папай так, словно передо мной разверзлась пропасть, и я почти с ликованием был готов перепрыгнуть ее. Перед моим мысленным взором развевались петушиные перья на касках жандармов, слышался топот полицейских, разгоняющих демонстрантов в Ясвароше, а над огромной кучей статистических карточек маячили фигуры Длинногоногого и старшего судьи.

— Вверх дном... вверх дном...

Господин Папай медленно пошел к своему столу, бормоча:

— Но это уже не наше, статистиков, дело. Мы регистрируем факты, и только.

Он сел на стул и начал лихорадочно перебирать карточки. Мне хотелось выбежать из комнаты.

Через мгновение господин Папай встал, прошелся несколько раз по комнате взад-вперед и неожиданно спросил меня:

— Были ли вы, коллега, хоть раз на заседании научного общества или в кружке Галилея?

— Нет, еще не был, но слышал о них.

Папай долго молчал. Потом, оглянувшись, проговорил, подчеркивая каждое слово:

— Возможно, скоро я сделаю там доклад о жилищных условиях в нашей столице. Назову некоторые цифры и раскрою, что за ними скрывается... Если вас интересует...

Говоря это, Папай отвернулся от меня. Глаза его горели каким-то особенным огнем. Вместо боязни в них светилась злоба. Его шуплая фигура показалась мне громадной. Возможно, вспомнив свою молодость, господин Папай захотел показать, что скрывается за сухими цифрами многочисленных отчетов.

Но все это продолжалось всего несколько секунд. Неожиданно огонь в глазах Папай погас, и передо мной снова стоял сгорбленный начальник отдела, боязливый и слабый. Чтобы как-то скрыть это внезапное превращение, он с напускным безразличием начал говорить об университетском научном обществе.

— Знаете, коллега, это общество является для интеллигенции своеобразным форумом, где можно поговорить о современных общественных проблемах. Интеллигенция потому и является интеллигенцией, что может логически разобраться в любом жизненном явлении. Кто знает жизнь и умеет правильно оценивать статистические данные, тот лучше ориентируется в любой ситуации. Если же интеллигент не способен понять сути вещей, он путается в хаосе событий, а беспощадные жернова истории рано или поздно сотрут его в порошок... Если человек не разбирается в современных событиях, тогда есть ли смысл...

Он умолк. Потом с боязливой осторожностью добавил:

— Вот я и хочу в своем докладе сделать кое-какие выводы.

Господин Папай начал торопливо собираться, но прежде чем выйти из комнаты, посмотрел на меня почти с благодарностью за то, что наконец получил возможность высказать перед кем-нибудь все, что он думает о статистике, обществе, о себе и своих мечтах.

— Собирайтесь и отправляйтесь заниматься! Запомните, что самое сильное оружие на земле — это знания, — сказал он мне и вышел из комнаты.

Меня охватило беспокойство. Я машинально перекладывал карточки, а у самого в голове молнией пронеслись обрывки мыслей: «Где разум... разум... Вверх дном... вверх дном... Жандарм... старший судья... Кохари...»

При мысли о Кохари я вскочил. Что с Шарикой? Я уже давно не получал от нее писем. Сдала ли она экзамены на аттестат зрелости? Приедет ли? Когда? Может быть, послать ей телеграмму?

Я быстро сгреб карточки в кучу и, бросив их в ящик стола, побежал на почту.

Шарика едет!

Девушка получила мою телеграмму, но ответила только через неделю, за которую чего я только не передумал! Потом получил известие, что Шарика приезжает в Будапешт. Она успешно сдала экзамены на аттестат зрелости. Жить в столице она будет у одного адвоката — хорошего друга ее дяди. В телеграмме был указан

и адрес, по которому я должен был разыскать ее. Но я не выдержал и помчался на Восточный вокзал. Приехал туда за два часа до прибытия поезда. Вдруг меня осенило, что при встрече полагается дарить цветы. Я пошел покупать цветы.

Наконец поезд прибыл. Я бегал вдоль состава, расталкивая людей. У предпоследнего вагона увидел Шарику, которая шла, оставив позади тетю. Тетушка звала носильщика. Как только я увидел Шарику, меня бросило в жар. Девушка была, как никогда, хороша. В ее лучистых глазах светилась радость.

Размахивая букетом, я бежал ей навстречу и кричал:
— Шарика!.. Шарика!..

Услышав мой крик, Шарика вздрогнула, стала искать меня глазами, а когда отыскала, ее лицо стало таким прекрасным, что сердце мое начало бешено биться. Она побежала мне навстречу, но толпа мешала ей бежать.

— Куда ты помчалась? — окликнула ее тетушка. — Потеряться хочешь в этой толкучке? Я же предупреждала тебя, что в столице нужно быть очень осторожной.

Очевидно, тетушка Каролина еще не видела меня и потому не понимала, почему Шарику побежала вперед. Но вот девушка, не скрывая своей радости, показала на меня:

— Вон Яни. Он встречает меня... нас.

Тетушка взяла Шарику за руку и строгим голосом начала поучать:

— Я же говорила тебе, что здесь нужно особенно осторожно держать себя с мужчинами!

Когда я подошел к ним, тетушка Каролина смерила меня строгим взглядом, стараясь понять, стал ли я «господином» за время учебы в университете. Потом улыбнулась мне доброй улыбкой и поздоровалась.

Я схватил Шарику за руку и долго смотрел в ее лучистые глаза. Говорить я не мог. Шарику тоже молчала. Однако наши взгляды были красноречивее всяких слов. Тетушка Каролина смущенно заулыбалась и стала звать носильщика.

Когда пришел носильщик и нам нужно было идти, я вспомнил о цветах, которые все еще держал в левой руке. Молча прогянул Шарике букет.

— Ну, пошли! — энергично позвала нас тетушка Каролина.

Заметив, что мы с Шарикой идем рядом, держась за руки, тетушка строго посмотрела на нас, потом дернула девушку за руку.

— Иди как положено!

Мы вышли на привокзальную площадь и остановились. Тетушка Каролина подозвала такси. Настала пора расставаться. Вдруг я вспомнил, что забыл спросить Шарика о самом главном.

— Кохари тебя не обижал больше?

Вопрос прозвучал так неожиданно, что и девушка, и тетя Каролина остолбенели.

Некоторое время Шарика испуганно и даже обиженно смотрела на меня, потом рассмеялась. Я не понял сразу, почему она смеется. Потом по блеску глаз девушки догадался: Шарика радовалась, что я ревную ее. В душе я слегка сердился на Шарика.

— Он ведь ухаживал за тобой! — подделываясь под шутливый тон, заметил я.

— Я его отвадила! Между прочим, отец устроил его в офицерское училище, — лаская меня взглядом, ответила Шарика.

Этого было вполне достаточно, чтобы я забыл обо всем на свете.

Когда я прощался, тетушка Каролина попросила меня на следующий день зайти на квартиру к адвокату д-ру Лайошу Рени, у которого будет жить Шарика. Поскольку я уже знал, как проходит запись в университете, то предложил Шарике свою помощь.

Д-р Рени лично составил заявление, и на другой день мы пошли по инстанциям.

Но везде, куда бы мы ни обращались, ответ был один:

— Зайдите, пожалуйста, через недельку! Приходите недельки через две!

После долгих, мучительных хождений Шарика получила официальный ответ. В университет ее не приняли.

Шарика была сильно расстроена. Она молча смотрела то на меня, то в пространство, как и тогда, когда мы гуляли с ней по монастырскому саду и говорили о поступлении в университет.

— Еврейка я, вот в чем причина, — еле слышно проговорила она. В глазах ее показались слезы.

Разумеется, об этом ни в одном отказе не упоминалось.

А в глубине глаз девушки, подернутых слезами, застыло выражение, которое, казалось, говорило: возможно, и ты, Яни, со временем будешь сторониться меня...

Я не смог найти подходящих слов, чтобы заверить ее в том, что этого никогда не случится, и поэтому коротко сказал:

— Никогда!

КРУЖОК ГАЛИЛЕЯ

Однажды ко мне пришли взбудораженные Тичка и Альфред. Встречался я с ними довольно редко: оба они были заняты учебой. Тичка учился в медицинском институте, а Альфред — в машиностроительном.

— Пошли с нами на заседание кружка Галилея! Ох, и диспут там будет! — с волнением предложил Тичка.

Я уже не раз слышал о кружке Галилея. Приглашал меня на его заседание и господин Папай.

— Что за диспут? — поинтересовался я.

— Диспут с монахами кружка Святого Имре. Вчера в техническом университете была настоящая драка. Там как раз освящали новый алтарь, налепив тем самым на технический вуз религиозный ярлык. Студенты пошли с протестом к ректору университета Михаи, который заявил им, что не хочет разговаривать с безбожниками. На следующий день состоялся спор студентов с монахами кружка Святого Имре, который кончился самой настоящей потасовкой.

Монахи обозвали нас дарвиновскими обезьянами. Драка наверняка не обошлась бы без жертв, если бы в это дело не вмешалось руководство кружка и не развело нас в разные стороны. Вот сегодня и состоится диспут. На повестке дня два вопроса: дело об освящении алтаря и о теории развития человеческого общества. Вот тут-то мы побьем их не только кулаками, но и фактами!

— Сначала лучше дискутировать на словах. Кулаки помогают в критический момент! — несколько охладил боевой пыл Тички Альфред.

Известие о диспуте и вчерашней потасовке студентов захватило и меня:

— Конечно, я тоже пойду!

Я сожалел, что не был свидетелем произошедшей драки в университете. Слушая рассказ моих друзей об освящении алтаря и ректоре Михан, невольно вспомнил, что вся власть в университете сосредоточена в руках представителей клерикальной реакции.

— Подождите меня немного, я схожу за Шарикой.

Мои друзья знали Шарику еще по Ясварошу. Иногда они дружески подшучивали надо мной и Шарикой. Узнав, что девушку не приняли в университет, они стали сочувствовать ей.

Я помчался к Шарике, чтобы пригласить ее на диспут. Тетушке Каролине я сказал, что это пригодится ей при следующей попытке поступить в университет.

Увидев меня, девушка обрадовалась, но стоило ей услышать о новой попытке попасть в университет, как она сразу помрачнела.

— Пошли скорей! — весело подмигнул я ей.

Прочитав длинную нотацию, как нужно вести себя, тетушка Каролина отпустила племянницу. По дороге мы рассказали Шарике, куда и зачем идем.

— Ну и покажем же мы этим узурпаторам! — захлебывался от восторга Тичка.

Девушка мало что понимала из нашего разговора, но шла с охотой.

У ворот здания, где должен был состояться диспут, собралось довольно много народу: студенты, рабочие. Все громко разговаривали, спорили, отчаянно жестикулируя. Говорили о дебатах в парламенте, о графе Тисе, который собирается разогнать Национальное собрание, о требовании рабочих нового избирательного закона, о терроре жандармерии и о многом другом.

— Все члены кружка Святого Имре — верные прислужники папы, — с азартом говорил один парень из общества Галилея. — Клерикальная реакция идет рука об руку с графским феодализмом. И пока мы не оторвем их друг от друга, страна будет задыхаться в этом зловонном болоте.

— Слышишь, о чем толкуют эти безродные? — выкрикнул кто-то из сторонников кружка Святого Имре.

— Черт бы их забрал! — не выдержал Тичка.

Потом на секунду все стихло. Шарика перепугалась. Она в любую минуту была готова бежать от этого шума и гвалта.

— Ничего не понимаю,—беспомощно прошептала она. Однако по выражению лица Шарики было заметно, что и ее захватило любопытство, так как, несмотря на свой страх, девушка все же осталась с нами.

Зал был набит битком. Я с трудом пробирался вперед, энергично работая локтями.

На стенах были развешаны плакаты и объявления, извещающие о лекциях и собраниях.

На одном из объявлений были перечислены темы лекций, которые будут прочитаны в научном обществе:

«Внешняя экономическая политика Германии». Читает Йозеф Аго.

«Война и воспитание». Лектор Шандер Арьяш.

«Внешняя политика Австро-Венгерской монархии». Докладчик Золтан Фонаи.

«Современные взгляды на некоторые проблемы в физике». Читает Дюла Фиглар.

«Вопросы антропогеографии в освещении Кароя Холата».

В кружке Галилея работали следующие семинары:

1. Учение о капитале.
2. Философия Маха.
3. Теория восприятия Маха.

Вместе со мной объявления читала и Шарика. Вздвигнувшись, она прижалась ко мне, боязливо рассматривая лица скружающих нас людей и прислушиваясь к их разговорам. Я волновался не меньше Шарики, поскольку сам впервые присутствовал на диспуте кружка. Тичка же и Альфред чувствовали себя как дома.

Собравшиеся разделились на два лагеря. То с одной, то с другой стороны раздавались выкрики:

— Лакеи Тисы!

— Безродные! Безродные космополиты!

Я плохо понимал, что происходило. Тичка объяснил мне, что на диспут пришли и социал-демократы, которые были не в ладах с членами кружка Галилея из-за того, что те занимались воспитанием рабочих, чего социал-демократы побаивались. Однако даже из объяснений своего друга я понял далеко не все.

— Коллеги, будем уважать наших гостей! — выкрикнул кто-то из толпы. — Мы пригласили их на диспут, так давайте же не будем оскорблять друг друга! Пусть торжествуют научные принципы!

— Наука бездомных бродяг — это не наука! В лучшем случае это наука безбожников! — закричал кто-то из гостей.

— Прошу соблюдать тишину! — громко попросил парень, сидевший за столом президиума и исполнявший обязанности председателя. Справа от председателя сидел его заместитель от кружка Галилея, слева — заместитель от кружка Святого Имре.

Призвав присутствующих к деловому обсуждению повестки дня, председатель объявил, что сначала будет обсуждаться вопрос об освящении университетского алтаря.

— Я предлагаю обсудить сначала теорию о происхождении человека! — предложил кто-то из сторонников кружка Святого Имре.

В зале сразу же поднялся невероятный гвалт.

— В первую очередь нужно обсудить скандал в политехническом! Беспрецедентное поведение ректора Михан и его заявление! — кричал Тичка.

— О происхождении! О происхождении! — неслось из противоположного угла зала.

— Давай сначала обезьянью теорию!

— Безобразие!

— Долой его!

— Сам ты обезьяна, раз несешь такую чушь!

Председатель встал и застучал кулаком по столу, требуя тишины.

— Я думаю, ничего не случится, если первое слово мы предоставим нашим гостям и обсудим вопрос о происхождении человека!

Галилеисты подняли было крик, но скоро уговорились.

Слово взял представитель кружка Святого Имре:

— Мир создан богом, и люди не в силах изменить его по своему желанию. Прежде всего я хотел бы познакомить вас с нашим лозунгом, которым мы руководствуемся: «Склонить знамена науки перед мудростью божьей!».

Зал глухо зашумел. Послышались выкрики:

— Это неслыханно!

— Они что, предъявляют нам ультиматум?

— Наука в состоянии дать ответ на любой вопрос!

Когда в зале снова воцарилась тишина, докладчик продолжал:

— Затем я познакомлю вас со святым писанием!

— Он что, тронулся?! — слышались возмущенные выкрики.

— Уж не с помощью ли святого писания думает он изменить существующий режим? — закричал Альфред.

Рука Шарике, которую я крепко держал в своей руке, задрожала. Лицо девушки от волнения покраснелось.

— Мы же опираемся на достижения науки. В вопросах изучения общества мы целиком стоим на позициях Дарвина, Гегеля, Энгельса.

В момент, когда шум в зале несколько стих, кто-то с пафосом выкрикнул:

— Самое сильное оружие в руках человечества — это наука!

Голос показался мне знакомым. Я посмотрел в ту сторону, откуда раздался выкрик, и увидел сутуловатого мужчину в очках.

Это был господин Папай!

Показав его Шарике, я шепотом рассказал ей о нашем последнем разговоре. Девушка дружелюбно посмотрела на него.

— Да здравствует революция! — выкрикнул кто-то.

Неожиданно в зале воцарилась мертвая тишина. Я заметил, как испугался господин Папай. Некоторые потихоньку поднялись со своих мест и начали незаметно проталкиваться к выходу. Господин Папай утиной походкой тоже направился к двери.

— Да это настоящий мятеж! — воскликнул кто-то из имренистов.

— Вы поосторожней бросайте слова о революции. — На трибуну поднялся прилично одетый полный мужчина, на вид рабочий. — Рабочие не хотят кровопролития!

— Какой ты рабочий, ты соцдемовский бонза! Вам нашей крови не жалко!

— С горячей головой нельзя решать серьезные вопросы! — с возмущением перебил говорящего полный мужчина. — В настоящий момент венгерская социал-демократия выступает за интересы буржуазии, так как сама является плодом буржуазного общества...

Раздались жалкие хлопки. Это зааплодировали несколько прилично одетых мужчин, похожих на господ. Тичка пояснил мне, что это представители либералов, которые надеются пробраться к власти.

— Правильно! Рабочие еще не созрели для крупных выступлений! — закричали сразу несколько имренистов.

— Пустые разговоры! — вплелся в словесную перепалку чей-то громкий голос. — Не первый раз слышу подобную чепуху. Уж раз вы заговорили о режиме, то я вам скажу, что у меня, рабочего, на этот счет имеется свое мнение: весь этот прогнивший строй нужно свергнуть! Объявить забастовку! Потом всеобщую забастовку, а уж потом перейти к вооруженному восстанию!

Разыскав глазами говорящего, я чуть было не вскрикнул от радости: это был Кальман Тома. Наконец-то я его нашел!

В тот же момент послышался глухой звук, похожий на выстрел. Через несколько человек от меня здоровенный мужчина с силой опустил свой огромный кулак на ладонь раскрытой руки и закричал:

— Вот это по-нашему! Это совсем другой разговор!

Я тотчас же узнал в мужчине Каллу, и не столько по голосу, сколько по манере стучать кулаком по ладони. Схватив Шарику за руку, я стал пробиваться к своим старым друзьям. Всего лишь несколько рядов отделяли меня теперь от Кальмана и Каллы. Вот я и разыскал их обоих! Шарика с трудом поспевала за мной. Пробиваясь к друзьям, я напомнил ей, что это и есть те самые парни, о которых я так много рассказывал ей. Заметив меня, Калла и Тома приветливо замахали мне.

— Вот они и заговорили о восстании и революции! Лучше убраться отсюда подобра-поздорову, пока не нагрянула полиция! — закричал стоявший неподалеку от меня имренист.

— Особенно если ее вызвали доносчики! — отозвался кто-то из галилеистов.

— Пршу не отклоняться от сути диспута! К делу! — тщетно усовещевал председатель.

— Итак, мы не признаем теории Дарвина о развитии человека из обезьяны, — визгливым голосом продолжал выступающий. — Человек создан господом богом, а не обезьяной!

— А мы верим в Маркса, Дарвина и естественные науки! — послышалась реплика сбоку. — Вы бы лучше рассказали нам о скандале в политехническом да о том, почему девушек не принимают в высшие учебные заве-

дения. Вот вам и весь ваш прогресс! Вот оно, ваше равенство!

Эти слова выкрикнул Тичка. В тот же миг стоявший рядом со мной имренист закричал:

— Пусть женщины остаются в том состоянии, в существовании которого Дарвину удалось убедить своих сторонников!

Что было дальше, я и сам не знаю, только я отвесил имренисту такую оплеуху, что он кубарем полетел на пол. Перепуганная Шарика потащила меня к выходу.

Я же чувствовал себя прекрасно, словно прошел крещение огнем.

В зале поднялся шум и гам. Тома и Калла, оказавшись возле меня, дали несчастному имренисту еще по оплеухе.

— Получил? Получил? — радостно закричали стоявшие у двери студенты.

Имренисты толпой бросились к выходу, а через несколько минут в зале появились полицейские. Когда Тома и Калла увидели полицейских, с трудом пробиравшихся сквозь толпу, они начали расталкивать студентов, таща за собой меня и Шарику. Позже они рассказали мне, что видели, как имренисты показывали полицейским на меня. Тогда мне казалось, что Шарика больше никогда в жизни не пойдет на подобный диспут, но я ошибался.

Шарика всю дорогу дрожала как в лихорадке и молча прижималась ко мне. Тома и Калла заботливо, словно двух испуганных птенцов, проводили нас до самого дома.

С этого дня Кальман Тома не выпускал меня из виду. Он и Янош приглядывали и за Шарикой, стараясь по возможности помогать ей.

В будни по вечерам, а иногда и в воскресенье ко мне заходил Тома и предлагал:

— Ну, пошли со мной, дружище!

И шел показывать мне город.

По старой привычке он все еще называл меня «дружище», а иногда хватал за грудки, как когда-то у господина Генца, и начинал бороться. Но побороть меня было уже не так легко. Иногда я сам шутиливо обхватывал его за

талию, предлагая померяться силами, на что он, смеясь, отвечал:

— Вы только поглядите, во что превратился парень! Мне, дружище, что-то уже не хочется бороться с тобой!

Однажды он предложил мне зайти за Шарикой и пригласить ее побродить по городу. Во время нашей первой встречи Тома шепнул мне, что у него тоже есть девушка, которая, как поется в песне, похожа «на самый красивый цветок Орошхазы». Отец девушки Антал Салаи возглавляет всех землекопов Орошхазы и уже не раз, когда дело доходило до драки, клал на обе лопатки жандармов и полицейских. Как-то при случае Тома не без гордости познакомил нас со своей Катикой, которая очень понравилась и мне, и Шарике. Катика была очень красива. Ее голубые глаза все время улыбались. Часто вместе с нами на прогулку отправлялся и Калла, но вскоре мы заметили, что он всегда старается затащить нас в такое место, где можно выпить по кружечке пива. И совсем не потому, что он любил выпить, а просто для того, чтобы поговорить по-человечески.

— Черт бы побрал такую жизнь! А почему бы мне и не выпить иногда кружечку пива?

Кальман ходил с нами, чтобы поговорить, как он выражался, «об умных вещах».

— Ты больше нас учился,— говорил он мне, и в голосе его звучали нотки горького сожаления, которые я уже слышал, когда он рассказывал мне, как ему хотелось учиться дальше, но родители вместо гимназии отдали его в ученики к столяру.

Во время наших разговоров мои друзья жадно глотали каждое мое слово, каждую высказанную мной мысль. Оба говорили, что им не нравится поведение их профсоюзных лидеров и руководителей социал-демократической партии, которые не раз срывали им забастовку. Меня они буквально забрасывали вопросами: кто такие Дарвин, Гегель, Маркс, Энгельс, о которых они так много слышали.

— Эти болтуны-соцдемы скорее запутают человека,— заметил Тома.— Мне кажется, мы тоже в состоянии усвоить простые истины. Рабочие не должны оставаться в том забитом положении, в котором они сейчас находятся. Мы должны изменить мир. А изменить его можно лишь одним способом: уничтожить власть капитала. Сначала

объявить забастовку, потом всеобщую забастовку, затем поднять народ на вооруженное восстание и совершить революцию!

Иногда к нам присоединялись Тичка, Вейс и еще кто-нибудь из друзей Тома. Разгорались такие горячие споры, что Томе и Тичке впору было разнимать спорящих. Тичка все больше и больше идеализировал французскую революцию.

— Ты, я вижу, такой же буржуазный революционер, как и многие из научного общества,— съязвил Тома, обращаясь к Тичке, который тут же начал оправдываться, хотя было видно, что он уже колеблется.

— Но ведь и в Венгрии прежде всего нужно совершить буржуазную революцию!

— Ну вот вам: он и сам признает, что стоит на позициях буржуазного революционера,— торжествуя перебил Тичку Тома.

Когда же к Томе присоединялся еще и Альфред, Тичка запускал пальцы в свои густые волосы и, откинув их назад, начинал раздраженно махать рукой.

— Ничего вы не понимаете в истории!

Мы добродушно смеялись. Шарика с интересом слушала эти бесконечные споры и улыбалась. Потом вместе с Катикой они подхватывали с двух сторон Тичку под руки и уговаривали:

— Пойдем лучше играть в карты. Не расстраивайся!..

Как-то вечером ко мне домой зашел Тома. Он был серьезнее обычного. Я с удивлением посмотрел на него.

— На завтра назначена всеобщая забастовка рабочих мебельной промышленности! — озабоченно начал он. — Рабочие требуют повышения заработной платы и сокращения рабочего дня. Заводчики вызвали полицию. Мне же поручено охранять бастующих нашего завода.

На третий день после забастовки я снова увидел Тому. Голова у него была забинтована.

— Видишь, как меня разукрасили? Правда, от меня кое-кому тоже досталось: выбил зубы трем штрейк-брехерам и двум полицейским! — похвастался он.

КРОВАВЫЕ ДНИ

Однажды Тичка пришел ко мне сильно взволнованным. Помахав пачкой газет, он громко закричал еще с порога:

— Граф Тиса назначен председателем парламента! В ближайшее время он намерен решительно разгромить своих противников, потопить в крови всех тех, кто борется за всеобщее избирательное право! Завтра жители Будапешта собираются на демонстрацию протеста перед зданием парламента. По рукам ходят листовки, распространяемые социал-демократической партией.

Тичка вытащил из кармана листовку.

— «Рабочие, товарищи! — начал читать он. — Готовьтесь к большим событиям! Да здравствует революция, которой народ должен ответить на все насилия и беззакония, творимые над ним...»

Зайдя за Альфредом, мы втроем пошли в кружок Галилея. Члены кружка были созваны на чрезвычайное заседание. На следующий день, в четверг, все студенты должны были выйти на демонстрацию. Из уст в уста передавались самые свежие новости, из рук в руки — листовки с призывами, прочитав которые, руководители социал-демократов, сторонники Альпари, Рудаша и другие замахали руками:

— Знаем мы этих сторонников Гарамии и Вельтера! Сейчас они только и говорят о революции, а когда дело дойдет до революции, не задумываясь, предадут ее. Революционные фразы и оппортунистические действия — вот их нутро.

Либеральные буржуа и наиболее трусливая часть кружка Галилея успокаивали их:

— Другие и этого не делают!

— Да здравствует революция, которая так необходима нам сейчас! Довольно пустых фраз! — не успокаивались сторонники Рудаша.

Мы с воодушевлением аплодировали Рудашу.

Взбудораженный, я, словно пловец, плыл по бурным волнам беспокойного людского моря. Казалось, земля содрогается у нас под ногами. Вот оно, долгожданное время, когда можно расплатиться за все с господином старшим судьей, с жандармами, с господином Бинором за Имре Бейтоша, за Каллу, за Бато! А расплатиться хотелось за все.

Я пошел за Шарикой, чтобы пригласить ее завтра на демонстрацию. Девушка колебалась, не понимая всей важности происходящих событий, и даже пыталась отговорить от этого и меня.

— Ведь речь идет о наших врагах! — объяснил я ей.

— А если с тобой что-нибудь случится? — с красным от волнения лицом спросила Шарика.

Не успел я дойти до двери, как она побежала за мной:

— Я тоже иду! Хочу быть с тобой рядом!

Я пошел к Томе, которого застал за довольно странным занятием: он прятал под пальто плетку. Калла поднял свой огромный кулак и начал потрясать им в воздухе.

— Защищайся, будто ты и есть граф Тиса, а я на тебя нападаю.

Когда же я закрыл голову руками, он рассмеялся и так хлопнул меня по плечу, что у меня даже желудок свело.

— Ну ты, интеллигент, приходи на демонстрацию, а то после графа Тисы мы и до интеллигентов доберемся! — кричал он мне.

Приняв стойку боксера, я потребовал:

— А ну-ка, попробуй подойди ко мне, враг интеллигентов!

Тичка и его друзья тщательно готовились к предстоящим событиям.

Утром, придя в статистическое управление, я рассказал господину Папану по порядку все новости. Сначала он бросил на меня испуганный взгляд и так поежился своим хрупким телом, будто хотел уйти в себя. Потом, не говоря ни слова, сел за письменный стол, склонился над бумагами и несколько минут возился с ними, бормоча:

— Выходит, мой доклад в научном обществе вряд ли состоится, хотя статистика и является основой всякой революции.

Затем, сдвинув очки на лоб, он еще раз посмотрел на меня и продолжал:

— Собственно говоря, действовать — это дело молодых...

Этим словами он как бы поддержал меня в моем желании пойти на демонстрацию.

На следующее утро мы встретились с Тичкой и его друзьями перед зданием кружка Галилея. Я охотно пошел бы с Томой и его друзьями, но они шли на демонстрацию с рабочими прямо с завода. Группа Тома шла по улице Юллен, проспекту Музеум и улице Вацци, а группа,

с которой шел Калла, — по улице Ваци к Западному вокзалу. У Западного вокзала, как нам объяснил Калла, к ним должны были присоединиться чепельские и андьял-фёльдские рабочие. Катика шла вместе с нами. Мы договорились, что вместе с Тичкой разыщем их на перекрестке улиц Алкотмань и Ваци.

У банка Анкера с самого утра собралась большая толпа народа, в которой без труда можно было заметить людей, боязливо оглядывающихся вокруг. Видимо, их выгнало из дому простое человеческое любопытство. Они словно раздумывали, оставаться им среди демонстрантов или лучше заблаговременно уйти домой. Большинство же собравшихся, особенно молодежь, искало в бурно развивающихся событиях не только революционную романтику, но и приключения.

Кое-где уже выкрикивали лозунги:

— Да здравствует революция!

— Долой феодально-клерикальную реакцию!

Пока мы стояли на перекрестке улиц, какой-то мужчина влез на пустой ящик и начал читать стихи Ади.

Раздались бурные аплодисменты. В воздухе заходили сотни крепко сжатых кулаков. Вслед за первым декламатором на ящик вскочил другой.

Аплодисменты становились все громче. Временами девушка боязливо поглядывала на меня, переводя взгляд на бурлящее море людей. Еще никогда в жизни мы с ней не были свидетелями подобных событий. Шарике стало страшно, и она еще крепче сжала мою руку.

— Пошли! Пошли! — раздались выкрики.

Толпа вздрогнула и потекла к улице Ваци.

По улице текла многотысячная толпа людей. Со всех сторон к парламенту шли демонстранты. То и дело раздавались выкрики:

— Долой Тису!

— Долой черную реакцию!

— Да здравствует всеобщее избирательное право!

— Да здравствует революция!

— Смерть графам, попам и банкирам!

— Свободу и права народу!

— Мы требуем создания независимого государства, национального банка и венгерской армии!

Толпа тысячеголосым эхом скандировала лозунги. Через какое-то время мы влились в поток, который запрудил

улицу во всю ее ширину. Вместе со всеми мы тоже выкрикивали лозунги и пели революционные песни. Некоторые, испугавшись бурлящей толпы, стали отставать и незаметно исчезать.

— Оно и к лучшему,— с презрением заметил Тичка.— Пусть трусы бегут прочь! По крайней мере, не будут мешать нам!

До улицы Алкотмань шли очень медленно. Улица Ва-ци — сплошное колышущееся море людей. Выкрики лозунгов все чаще и чаще заглушались революционными песнями. Неожиданно с улицы Алкотмань послышались громкие крики, но разобрать можно было лишь обрывки фраз:

— Полиция!

— Жандармы! Палачи!

В многоголосый шум толпы уже врезались плач и рев.

— Палачи! Народ не задушить!

Лицо Шарика покрылось красными пятнами. Чтобы как-то подбодрить девушку, я еще крепче сжал ее руку и прижал к себе. Я заметил, что Тичка и Альфред стараются идти так, чтобы ее не толкали, однако это не мешало Тичке во все горло выкрикивать лозунги.

Постепенно мы подошли к первым домам на улице Алкотмань. Глазами мы разыскивали Тому и Каллу, но их не было видно. Тогда я предложил отойти в сторону и ждать, пока не подойдет группа Тома. Со стороны улицы Алкотмань все громче доносились крики и плач, а вскоре толпа, заполнившая улицу, начала откатываться назад. По тротуару то тут, то там бежали люди, но толпа, запрудившая улицу, не пускала их. На улице началось столпотворение. В самой гуще я увидел Тому, который, держа под руку Катiku, хотел пробиться вместе с Каллой на улицу Алкотмань.

— По рабочим стреляют! — закричал Тома.

— Все равно туда не пробиться!

Оба обрадовались, когда увидели меня. Катика стала просить нас удержать Тому от необдуманного шага. В присутствии Катика Шарика немного успокоилась и взяла ее под руку.

За нашей спиной со стороны улицы Надьмезё доносились громкие крики и шум. Демонстранты опрокинули трамвай и начали строить баррикады.

— Что случилось на улице Алкотмань? — спросил я у Тома, но он ничего толком не смог мне ответить.

Скоро по толпе пробежал слух: «Больше сотни полицейских и жандармов бросились на толпу перед самым парламентом с саблями и штыками!»

Со всех сторон послышались гневные выкрики:

— К парламенту! К парламенту! Есть же там булыжники! Не позволим убивать ни в чем не повинных людей!

Несколько человек бросились к опрокинутому трамваю, чтобы оторвать от него что-нибудь тяжелое.

В этот момент со стороны парламента послышался сильный шум, прерванный стрельбой, дикими криками и плачем.

Толпа на улице Алкотмань стала заметно рассеиваться: обезумевшие от страха люди бросились в боковые улочки. Некоторые бежали обратно — в сторону улицы Вацци. Как только послышались выстрелы, толпа стала редеть и здесь. Те, кто бросился назад, натолкнулись на поток чепельских и андьялфёльдских рабочих, которые со стороны Западного вокзала волной катились к парламенту.

В толпе сновали социал-демократические агитаторы, старавшиеся успокоить людей.

— Вот они, хваленые революционеры, которые хотят нас разоружить! — захрипел Тома и бросился было за одним соцдемом, чтобы кулаками проучить того, но Катика удержала его.

То тут, то там мелькали головы полицейских, жандармов и даже солдат, которые штыками и прикладами разгоняли демонстрантов. Неожиданно кто-то запел песню, и тотчас ее подхватили сотни голосов. А в это время с улицы Вацци неслась другая песня. Еще мгновение — и вся улица подхватила ее.

Шарика, еще сильнее вцепившись в мою руку, потянула меня в сторону:

— Пойдем! Пойдем отсюда!

По тому, как дрожала ее рука, я понял, что она боится. Катика пыталась приободрить девушку.

Толпа, двигавшаяся с улицы Вацци, как взбушевавшаяся река, снова хлынула на улицу Алкотмань, чтобы смести на своем пути и жандармов, и полицейских, которые избивали людей на перекрестке. Я видел, как Тома выхватил из-под пальто плетень и бросился вперед. Взгля-

нув на Каллу, я заметил, что он тоже высматривает себе полицейского, которому мог бы вцепиться в горло.

За нашей спиной кто-то громко закричал. Я обернулся и увидел рабочего, который держал в руках железный болт, оторванный от трамвая.

Навстречу рабочему бросился полицейский.

— Берегись! — крикнул я рабочему, поскольку тот не видел полицейского, бежавшего к нему с обнаженной саблей. Рабочий обернулся, увидел полицейского и, замахнувшись болтом, закричал:

— Ну, убийцы, сейчас я с вами рассчитаюсь!

Однако полицейский уже взмахнул саблей и с силой опустил ее на голову рабочего. Бедняга дико закричал и, обливаясь кровью, повалился на землю.

Огромными прыжками Калла подбежал к полицейскому, приподнял его и бросил на землю. Подскакивший к Калле Тома ударил полицейского кнутом. Вдруг Тома стал тянуть Каллу в сторону, так как к ним уже бежали несколько полицейских. Через мгновение оба смельчака уже смешались с толпой.

Между рабочими и полицейскими завязался настоящий бой. Но силы были неравны. Рабочие медленно отступали под натиском вооруженных полицейских.

Шарике стало плохо, и Катика затащила ее во двор ближайшего дома.

— Пойдем, пойдем отсюда! — шептала мертвенно бледная девушка.

Я хотел вывести ее из толпы, но сделать это было уже невозможно.

Со стороны улицы Алкотмань двигалась густая цепь жандармов, полицейских и солдат, разгонявших поредевшую толпу. За ними через площадь двигался на конях целый полк гусар. Гусары ехали медленно. На секунду толпа в ужасе застыла. В ушах нарастал дробный цокот копыт. Демонстранты медленно отходили назад, а в это время со стороны Западного вокзала и улицы Вацц все сильнее и сильнее напирала толпа чепельских рабочих.

Полицейские тем временем рассредоточились по боковым улицам, избивая саблями безоружных людей. Со всех сторон слышались детский плач и крики женщин.

Тома так и рвался со двора, чтобы схватиться с полицейскими. Мы с трудом удерживали его.

Когда первый ряд гусар поравнялся с подворотней, в которой мы сидели, я вдруг заметил знакомое лицо.

— Имре Бейтош? Ты? Против нас?! — закричал я изо всей силы.

Бейтош увидел меня. На лице его застыло выражение замешательства и страха, а взгляд упал на офицера, гарцевавшего перед отрядом.

«Что я могу поделать, приказ есть приказ...» — прочел я в глазах Имре.

Мой взгляд машинально скользнул по лицам офицеров, схавших впереди отряда, и остановился на молодом лейтенанте, в котором я без труда узнал Кохари. Я невольно вздрогнул. Перехватив мой взгляд, Шарика посмотрела туда и тоже узнала Кохари.

— Пойдем, пойдем отсюда! — испуганно зашептала она и схватила меня за руку.

Я обнял ее.

— Когда ты уехал из города, Кохари все время твердил, что не успокоится до тех пор, пока не рассчитается с тобой, — дрожа всем телом, шептала Шарика. — Пошли отсюда, а то он убьет тебя!

Когда я окликнул Бейтоша, Кохари, казалось, услышал меня и повернул голову в мою сторону. Мне показалось, что он узнал меня: на его лице заиграла ехидная улыбка. Не знаю только, видел ли он Шарику. Вытащив саблю из ножен, он взмахнул ею над головой и прищиприл коня.

— Эскадрон, за мной! — закричал он, повернувшись к гусарам.

Эскадрон перешел на галоп. Врезавшись в толпу, гусары стали бить по головам и спинам бегущих людей плашмя саблями.

Безоружная толпа дрогнула и начала откатываться назад. Некоторые пробовали защищаться. Одного офицера демонстранты даже стащили с лошади на землю. Но устоять под столь мощным напором вооруженной силы безоружные люди все же не могли. На помощь гусарам из переулков спешили полицейские, жандармы и солдаты. На какое-то время улица перед домом, во дворе которого мы укрылись, очистилась от людей. Нужно было воспользоваться моментом и увести Шарику в безопасное место. Вместе с Катикой мы взяли ее под руки и через боковые улицы вывели на проспект Андраша.

Тома и Калла остались в толпе. Позже Катика вернулась к ним.

Группу Тички оттеснили на другую улицу.

Это произошло 23 мая 1912 года, в четверг, который после этого стали называть Кровавым четвергом.

Бои на улицах продолжались еще целых два дня.

ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ

Из Ясвароша нас отправили на фронт, где находился распределительный пункт, к которому относился и наш 38-й пехотный полк.

Уже в 1913 году я редактировал в Ясвароше местную социалистическую газету. Меня арестовали за это и посадили в тюрьму, а потом направили на фронт. Полк, в который я попал, назывался черным. На занятиях на меня то и дело орал старший лейтенант Шмидт:

— Ты, социалист, винтовку держишь так, будто издеваешься над всей нашей армией! Подожди, я тебя вымуштрую!

Я действительно без большой охоты, а часто со злостью брал винтовку в руки. К оружию я чувствовал чуть ли не физическое отвращение. Однажды старший лейтенант потащил меня к капитану. Подобное не сулило мне ничего хорошего. Капитан начал орать на меня по-немецки (в австро-венгерской армии это был официальный язык), так как по-венгерски толком не знал ни одного слова:

— Я тебя в такое место посажу, что ты там посинеешь!

Армия оторвала меня от нашего тайного общества. Шарика осталась жить в Пеште. Когда я снова попал в Ясварош, на меня невольно нахлынули воспоминания о детских годах и нашем тайном обществе. До Тома очередь идти в солдаты еще не дошла, а Каллу (он работал на военном заводе) временно освободили от военной службы. Тичку забраковали: у него оказался туберкулез легких в открытой форме. Когда мы расставались с ним, он подошел ко мне (тогда он уже знал, что его болезнь неизлечима) и с горькой усмешкой сказал:

— Ну, я свою похоронную уже получил. Сдохну раньше, чем вы там, на фронте. А потом уж и до вас очередь дойдет...

Он взглянул на меня своими большими голубыми глазами и неожиданно замолчал, не сказав всего того, что хотел. Но мы и так догадались, что он хотел нам сказать. Помолчав, он договорил фразу до конца:

— Вот когда нам по-настоящему необходимо тайное общество.

Много позже, когда я оказался на фронте, где мы наконец разобрались в том, что ведем братоубийственную войну, я по-настоящему понял, что имел в виду Тичка, говоря эти слова.

Я обнял друга и отвернулся, чтобы он не видел, как я расчувствовался: ведь он был одним из тех, кто зажег в моей душе огонь свободы.

— Это общество мы еще создадим, и ты встанешь во главе его, — успокаивал я Тичку.

— Пошел ты к черту! — Он засмеялся и оттолкнул меня.

Тома и Калла подхватили его и подняли в воздух.

Когда друзья опустили Тичку на землю, Калла повернулся ко мне и почти обиженным тоном сказал:

— Тогда и вы будете стрелять в воздух, а не в людей, которых никогда и в глаза не видели!

И сильно, но дружески пожал мне руку.

За несколько минут до того как наш полк был погружен в вагоны, ко мне прибежала Шарика. Она с трудом пробилась сквозь толпу провожающих.

— Я приехала из Пешта, чтобы еще раз увидеть тебя, — откровенно призналась она.

Я обнял ее. Шарика сказала, что не теряет надежды попасть в университет. Ну а уж если не примут, она пойдет на курсы медсестер.

В этот момент раздалась команда:

— По вагонам!

Шарика судорожно сжала мою руку, зарыдала и припала ко мне.

Я слышал, как кто-то рядом со мной не то плача, не то смеясь сказал:

— Уж ты сам следи за собой, если что разорвется. Форма — это тебе не гражданский пиджак.

Женщина гладила худого, с аскетическим лицом мужчину, который нервно поправлял на носу очки в серебряной оправе. Мужчина все время смотрел по сторонам, отчего форма топорщилась на нем так, словно

была скроена на двух солдат его телосложения. Спина сгорблена, а на длинной тонкой шее, словно подсолнух, качалась большая голова. Женщина совала мужу какой-то сверток и приговаривала:

— Видела я у тебя в вещевом мешке и иголку, и нитки, но они дрянные! Вот эти возьми, они очень крепкие!

— Хорошо, хорошо, не беспокойся, — заторопился мужчина.

Я поднял с земли вещевой мешок и подал ему:

— Пожалуйста!

Мужчина бросил на меня растерянный взгляд и сунул руку в карман, куда его жена только что положила нитки и иголку. Потом он еще раз посмотрел на меня, будто старался отгадать, слышал я или не слышал, что наказывала ему жена. Он, видимо, стыдился меня.

— Разрешите представиться! Педагог Йожеф Шаркези. — Он поклонился.

Я тоже назвал себя.

— А это моя жена. — Мужчина показал на маленькую худенькую женщину и сделал жест рукой в сторону трех толпившихся возле него ребятишек. — А это наши дети!

Я посмотрел на худенькие личики детей.

— Как же это получается? Ведь педагогам дают броню!

Шаркези с удивлением уставился на меня, не зная, что делать: отвечать на мой вопрос или нет. Я с сочувствием посмотрел на него. Глаза мужчины сразу же поправились, и он скороговоркой начал объяснять:

— Видите ли, в нашей жизни большую роль играет протекция. Того же, кого недолюбливает директор или кто-нибудь из начальства...

Я заметил, что жена Йожефа незаметно дергает его за полу френча. Мужчина испуганно замолчал, а женщина, чтобы как-то замаять свою неловкость и перевести разговор на другую тему, начала благодарить меня:

— Спасибо за внимание!

Потом вопросительно посмотрела на меня и заметила:

— Вам еще хватит забот с моим мужем, если вы попадете с ним в одну часть.

— Хватит, уважаемая, хватит! — поспешил ответить я и, представив супругам Шаркези Шарику, спросил:

— Вы тоже живете в Ясвароше?

— Да. Мой муж преподает там в начальной школе, той, что на улице Ури.

— Тогда у вас будет возможность помогать друг другу. — И я показал на Шарику.

— А почему бы и нет? Пусть запросто заходит к нам. У нас есть фруктовый садик. Муж все свободное время копался в нем. Он так любит цветы и вообще зелень. Часто говорит, что цветы такие чистые, в них нет ни заносчивости, ни зла...

— Ну, это уже дело философии, — перебил свою супругу Йожеф. — Каждому человеку нужна философия.

— А как же дети? — Я кивнул в сторону малышей.

Женщина в ответ зарыдала и долго ничего не могла сказать.

— Что же с нами будет? Что же с нами будет? — заголосила она.

Шаркези прижал жену к себе и начал гладить ее по голове, не зная, как утешить. Дети, тесно обступив рыдавшую мать, тоже заплакали. Шаркези наклонился к ним, сгреб всех троих в охапку и забормотал себе под нос:

— Им тоже суждено погибнуть! А за что?

Шарика посмотрела на детей и прижалась ко мне. Снова раздалась беспощадная команда:

— По вагонам! По вагонам!

Солдаты с неохотой потянулись к вагонам. Вокруг нас бурлило море людей — матери, жены, невесты, дети. Со всех сторон неслись крики, рыдания, плач.

— Сынок, дорогой сынок! Если тебя убьют, я этого не переживу!

— Нет у меня больше мужа, а у моих крошек отца! Конец всем нам!

— Будь проклята эта война!

— Земля будет, домик будет, а хозяина не будет!

— Сиротами остаемся, голову приклонить не к кому!

Сотни, тысячи безудержно рыдавших людей, казалось, спрашивали самих себя: «Зачем наши сыновья идут на эту войну? Зачем?» Мои глаза встретились с глазами Шарика, и мы спросили друг друга: «Кому нужна эта проклятая война?»

В глазах Шарика стояли слезы.

Отцы и матери обнимали сыновей, жены — мужей, брат обнимал брата, и все это сопровождалось истошным

плачем детей и женщин, от которого мороз по коже пробирал.

Солдаты обнимали жен и матерей, целовали, возможно в последний раз, своих детишек. И каждый из них понимал, что его посылают на верную смерть. Однако никто из них не знал, ради чего их посылают на эту смерть.

Одни злобно грозили кулаками небу, другие пели, третьи орали так, что казалось, у них вот-вот лопнет глотка.

И в эту жуткую какофонию звуков безжалостно врываются слова команды:

— По вагонам! По вагонам!

— Поезд отходит! Поезд отходит!

Я еще раз обнял и поцеловал рыдавшую Шарику. Казалось, вместе с ней оставалась и моя душа. Вагоны были украшены цветами и знаменами, будто это могло спасти нас от гибели. Я прыгнул на подножку уже тронувшегося с места вагона.

Колеса вагонов выстукивали свою бесконечную унылую песню. Я забился в угол теплушки, стараясь найти в голове ответ на неумолимое «почему». Перед глазами проносились белые кони, несущие экипаж графа Тисы, полицейские, жандармы; перед самым моим носом блестяли штыки; я отчетливо слышал громовые раскаты смеха господина старшего судьи, когда крестьяне затеяли в корчме драку. «Пусть они лупят друг друга! Пока они дерутся между собой, мы можем спокойно жить. А потом мы их всех в армию упрячем, на фронт пошлем, и пусть они там убивают друг друга».

А колеса все стучали и стучали...

Рядом со мной, опершись спиной о стенку вагона, сидел Шаркези. Взгляд его был устремлен в пустоту. За стеклами очков блестела одинокая слеза. Поймав мой взгляд, он смутился и указательным пальцем смахнул слезу.

— Прошу прощения, — забормотал он. — Видите ли, жена, маленькие детишки...

Неожиданно он замолчал, прислушиваясь к стуку колес. Потом повернулся ко мне и, смущаясь, спросил:

— Скажите, разве это преступление, если у кого-нибудь порвутся брюки? Вы, верно, слышали, как моя жена говорила, чтобы я следил за собой. Дома она сама

мне их зашивала, но они снова порвались. Что поделаешь, если лучших у меня нет...

Он смущенно засмеялся и, чтобы как-то скрыть свое смущение, продолжал:

— Жаль мне свой садик, деревья жалко: они у меня такие красивые. А вот пришлось оставить. Пусть растут, пусть цветут...

Наступила длинная пауза. Потом Шаркези снова заговорил:

— Вы изволили спрашивать, почему мне не дали брони, ведь педагоги и в тылу нужны. — Он боязливо огляделся и тихо добавил: — Вы кажетесь мне понимающим человеком, поэтому я вам откровенно скажу: некоторые люди у нас не терпят и тени свободомыслия. Вот мое начальство заметило, что я читаю «Двадцатое столетие». А этот журнал, видите ли, имеет репутацию...

Шаркези посмотрел на меня изучающим взглядом. Когда же я сказал ему, что тоже читаю этот журнал, он оживился и с радостью пожал мне руку.

Из противоположного угла вагона неожиданно послышался чей-то хриплый голос:

— А почему бы нам не повеселиться? А то кто знает, придется ли еще когда-нибудь.

И мужчина запел грустную крестьянскую песню. Ему стали подпевать. Неожиданно кто-то разбил о стенку вагона бутылку с вином, обдав всех брызгами.

Несколько солдат пели, обнявшись и держа в руках по бутылке вина. Парням, видимо, казалось, что они шли по деревне, а вслед за ними бежали девушки, чтобы посмотреть на своих лихо распевающих парней.

Один еле стоящий на ногах парень неожиданно ударился головой о стену и устался на меня пьяными глазами. Я сразу же узнал его: это был Андраш Тана, мой старый товарищ, которого родители хотели послать вместе со мной в ясварошскую гимназию. Андраш выпрямился и показал на меня:

— А-а, вот он, сын глухого Коллара!

В глазах его загорелись злобные огоньки. Я с удивлением посмотрел на Тана: откуда у него эта злоба? Ведь мы были друзьями, вместе играли, мечтали о том, как будем ходить в гимназию.

Пошатываясь, Андраш перешагнул через несколько человек и подошел ко мне.

— Ну вот ты, Яни Коллар, выучился на господина, а попал вместе с нами. Чего же тогда стоит твоя учеба?

В голосе Андраша слышались насмешка и горечь. Размахивая бутылкой, Андраш спросил:

— Раз ты такой грамотный, скажи нам, зачем мы идем на фронт?

Сам не зная почему, я вдруг осмелел:

— Защищать свиней графа Тисы.

В тот момент я вспомнил все, что слышал о войне в научном обществе. Одновременно мне пришло на ум, что социал-демократическая партия одобрила эту войну.

Несколько человек громко рассмеялись. Другие сделали вид, что не слышали моего ответа, но, повернувшись в нашу сторону, стали прислушиваться.

Тана со злостью выругался и, как видно, решил не отставать от меня.

— Эй ты, Коллар, разве мы идем умирать не за короля и родину?

— Будь проклята эта Сербия! — заорал вдруг другой пьяный солдат.

— Черт бы тебя забрал! Думаешь, знаешь больше меня, раз такой ученый? А я тебе говорю, что мы идем умирать за короля, за императора! Где мой штык? Я сейчас проткну этого ученого!

Найдя свой штык, Андраш попытался было вытащить его из чехла, но к нему подскочили солдаты и вырвали штык.

Андраш упал на пол и только тогда заметил, что в руке у него бутылка с вином. Он поднес ее ко рту.

— Выпьем, ребята! Я вам говорю, что мы идем умирать за господ бога и императора! — Он попытался встать. — А у этого ученого отец даже не крестьянин, а бондарь, но он все равно тянется к господам. — Андраш отпил немного из бутылки и продолжал: — А что можно ждать от господ? Только какой-нибудь пакости. Вот поэтому-то я и не захотел стать господином...

Я оглядел охмелевших от вина солдат и помрачнел.

Шаркези, который внимательно следил за этой сценой, наклонился ко мне и прошептал:

— Вот вам и двадцатый век!

В вагоне стало тихо, и только размеренный стук колес нарушал эту тревожную тишину.

Поезд мчался по степям Бачки. Кругом до самого горизонта расстилались кукурузные поля. На краю поля какой-то старик копал лопатой землю. Увидев в открытые двери теплушек солдат, он бросил копать, выпрямился, оперся о лопату и, сняв с головы свою старенькую шляпу, долго смотрел поезду вслед. Мне показалось, что он молится за нас, словно мы уже были мертвыми.

ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ

Вот уже три дня мы шагали по дорогам Сербии, разыскивая свой полк.

Долгое время находились в резерве, не попав ни в одну переделку. Наши войска трижды прорывали позиции сербов, но какой ценой! Раненые, направлявшиеся в тыл, рассказывали, что сербы почти полностью уничтожили наш 69-й полк, который наступал по всем правилам тактики старой австро-венгерской армии. Противника, как правило, замечали в самый последний момент. Наши офицеры, обученные по наставлениям еще прошлого столетия, так же обучали и своих солдат. В наступление шли под звуки горна и бой барабанов, офицеры махали саблями и командовали: «В атаку! За мной! Вперед!» — и солдаты густой цепью бросались в атаку. Вот тогда-то противник, укрывшийся в кукурузе, и открывал ураганный огонь из пехотного оружия и пулеметов по нашим. Окрестность оглашалась криками раненых.

В нашем полку первым погиб старший лейтенант Шмидт. Солдаты шептались: пулю в него пустили свои же солдаты, отомстив офицеру за все его жестокости. Командир полка Лукачич, ставший позже генералом, сам любил расправляться с солдатами. Несколько новобранцев, не вынеся жестоких надругательств, повесились. Когда старшему лейтенанту Шмидту доложили о случившемся, он набросился на солдат: «Ах вы, вонючие твари, не желаете служить богу и королю?»

Солдатам, встретившимся с противником на кукурузном поле, пришлось впервые увидеть, что такое окопы, о которых они не имели представления, тогда как противник уже использовал их в войне с болгарями. Нужно отдать справедливость: сербы были храбрыми солдатами. Когда нам удавалось взять в плен серба, пленный молчал или, сжав зубы, спрашивал нас: «Зачем вы вторг-

лись на нашу землю? Почему грабите ее?» После того как из кукурузы стали вести ожесточенный огонь, навсегда положивший в землю многих наших, на полк накати-лась огромная волна противника, под натиском которой оставшиеся в живых солдаты отошли назад. Продвинув-шись вперед, противник тотчас же закрепился на мест-ности и начал с невероятной быстротой отрывать новые окопы. Выбить его из них нам удалось лишь много поз-же, и то ценой больших жертв.

Солдаты, прибывшие с другого участка фронта, рас-сказывали, что, после того как австро-венгерским вой-скам, несмотря на ожесточенное упорство и храбрость сербов, с горем пополам все же удалось взять город (си-лы были неравными), генерал отдал его на разграбле-ние, разрешив солдатам убивать мирных жителей сколь-ко кому хотелось.

Разговоры об этом не выходили у меня из головы все время, пока мы добирались до своей части.

Шаркези от усталости и от тяжести ранца, висевшего у него за плечами, всю дорогу шел, низко наклонив голо-ву и время от времени обходя что-то. Сначала я думал, что это его от усталости шатает из стороны в сторону. Я подошел к нему, чтобы поддержать его, и заметил, что он то обходит ползущего по земле муравья, то пере-шагивает через маленького жучка. Выражение лица у него было такое, будто его сильно мучило.

Я жестом подозвал к себе рядового Цегледи и по-просил его помочь учителю. Он понял меня.

— Вам помочь? — спросил я учителя.

Шаркези с удивлением посмотрел на меня. В его глазах застыли страх и тревога.

— А разве муравьи и жучки не имеют права жить? — тихо проговорил он, словно думал вслух. — Почему я должен давить их?

Он еще ниже наклонил голову и, с трудом ворочая языком, продолжал:

— Или человек превратился в зверя?

— Может, у господина учителя опять болит живот или он наклал в штаны? — Шагавший рядом с Шаркези унтер-офицер Антал Киш, которого солдаты метко про-звали надсмотрщиком, цинично рассмеялся. — Вот я вам сейчас как двину в зад, сразу полегчает!

Люди грубели с каждым днем.

— Черствеет душа человека, — не раз замечал Шаркези, ни к кому не обращаясь.

Солдаты, слышавшие подобные замечания, смеялись. А однажды лейтенант (по виду из благородной семьи), услышав такое замечание учителя, расхохотался:

— Вот он, наш генерал от гуманизма!

С тех пор за Шаркези так и осталось это прозвище. Солдаты смеялись, однако сами часто повторяли это странно звучащее слово «гуманизм».

— Что же такое гуманизм? — расхохотался как-то один из солдат. — Вот он, ваш гуманизм! — И он вытащил из-под рубахи несколько крупных вшей. Все мы ходили тогда грязными и заросшими.

Наш лейтенант не раз говорил унтеру Кишу, чтобы он, не скупясь, награждал учителя тумаками, от чего тот только крепче станет.

— Вам помочь? — спросил Цегледи учителя.

— Вы думаете, я устал больше, чем другие? — слегка выпрямившись, спросил Шаркези.

Ничего не говоря, Цегледи снял с плеча учителя винтовку и забросил ее себе за спину. Шаркези взглядом поблагодарил его.

До армии Цегледи работал кузнецом в Кишкереше. Ширококостное лицо. Большая голова ладно сидела на могучей шее. Плечи же у него были такие широкие, что форма буквально лопалась по швам. Руки висели, как две большие кованые лопаты. Большие черные глаза под густыми лохматыми бровями смотрели тепло и дружелюбно на тех, кто ему нравился. Тех же, кто приходился ему не по душе, кузнец обжигал колючим взглядом. Меня он берег как зеницу ока. На привалах мы, как правило, садились рядышком, и я тихонечко начинал рассказывать ему о том, что видел в Пеште, о забастовке, о борьбе рабочих с предпринимателями или о событиях, происходящих в мире.

— Мне кажется, я стал больше видеть, — признавался Цегледи, буквально глотая каждое мое слово.

— Вот это хорошо! Так им и надо! — поддакивал он, когда я рассказывал о борьбе рабочих против сторонников графа Тисы. Время от времени он с силой бил кулаком по земле, будто в руках у него был большой кузнечный молот.

Цегледи нравился и учитель Шаркези, как он мне од-

нажды признался, своей худобой и нежностью. Но я знал, что он полюбил учителя за то, что тот душевно говорил о людях, о деревьях, цветах, а своих детишек называл маленькими цыплятками.

Мы трое так сдружились, что лейтенант Гёргени прозвал нас тремя мушкетерами. Всем это очень понравилось.

Однако ненависть солдат к лейтенанту росла все больше и больше. Как-то он подслушал, как я рассказывал своим друзьям о будапештских рабочих и их настроениях.

— Господин кадет, будет лучше, если вы станете следить за своими собственными словами и за теми, с кем дружите, — посоветовал мне лейтенант, насмешливо улыбаясь.

Я недоуменно пожал плечами и отвернулся, что еще больше разозлило лейтенанта.

Цегледи же был готов нести не только винтовку Шаркези, но и его самого.

Андраш Тана, шагавший в третьей шеренге, как я заметил, не раз поглядывал на нас. О случившемся в поезде он, казалось, забыл, но все же избегал моего взгляда. Я чувствовал, что ему хотелось снова сблизиться со мной, чтобы как-то искупить свою вину. Несколько раз я сам хотел заговорить с ним, но все не решался.

— Чем занимаются эти мушкетеры?! — закричал на нас лейтенант.

Широкими шагами он подошел к Цегледи и, показав на висящие на его плече две винтовки, спросил:

— Чья вторая винтовка? Насколько мне известно, солдату положена только одна! Не так ли?

Сорвав с плеча Цегледи винтовку Шаркези, он бросил ее учителю.

— Здесь вам не детский сад! — заорал он. — Тот, кто не хочет добросовестно исполнять свои обязанности, дезертир и будет расстрелян. Разве господин кадет не замечает, что здесь нет порядка? — обратился ко мне лейтенант.

На лице у меня застыла презрительная усмешка. Я отвернулся от лейтенанта.

— Ну, ничего, унтер-офицер Киш будет лучше смотреть за вами! — И, обратившись к Анталу Кишу, закричал: — Эй, унтер-офицер, ко мне!

У Киша было худое лицо и лихо закрученные кверху усы, а когда он орал на своих подчиненных, подбородок у него так и ходил ходуном. Услышав крик лейтенанта, унтер быстро подбежал к нему и, встав по стойке «смирно», выпалил:

— Приказывайте, господин лейтенант!

Гёргени ткнул пальцем в сторону Шаркези и с издевкой в голосе сказал:

— Унтер-офицер, вы не уделяете должного внимания генералу от гуманизма! Генерал опять передал свою винтовку другому лицу, за что его следует отдать под суд. Напомните ему о его обязанностях!

Киш мигом подскочил к Шаркези и набросился на него:

— Черт бы вас побрал, генерал от гуманизма! Сколько раз вас нужно лупить, чтобы вы все делали так, как положено? — И он так ударил кулаком по спине учителя, что тот упал бы на землю, если бы его не подхватил Цегледи.

— Так ему, так! — захохотал Гёргени. — Так ему, этому симулянту, генералу от гуманизма! — И он бросил насмешливый взгляд в мою сторону, ожидая, вмешаюсь я в эту историю или нет. Затем лейтенант зашагал к голове колонны, откуда вскоре послышался его крик:

— Грязная банда, шире шаг!

Колонна пошла быстрее. Шаркези, собрав все свои силы, старался не отставать. Чтобы хоть как-нибудь помочь бедному учителю, Цегледи подставил под его ранец свою винтовку и так поддерживал его.

Неожиданно колонна остановилась, ряды сломались, и тотчас же послышалась ругань офицеров, которую прорезал резкий, пронзительный голос Гёргени:

— Не останавливаться! Шире шаг!

Колонна вздрогнула и зашагала дальше.

Через некоторое время передние ряды снова замедлили шаг, а потом неожиданно остановились. Послышались крики офицеров: «Быстрее! Быстрее!» Оторопевшие солдаты стали через что-то перепрыгивать. Когда к этому месту подошли мы, то увидели, что на дороге и по обе стороны от нее лежат трупы. И без того измученное лицо Шаркези стало совсем серым. Рот открылся, а подбородок задрожал, словно он хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Взглянув на трупы, Цег-

леди перевел взгляд на меня. В его глазах я прочел злобу. Мы молчали, так как без слов прекрасно понимали друг друга. На лицах солдат застыло выражение ужаса, страха и бесконечной скорби. Кто-то неестественно засмеялся, словно хотел скрыть свои истинные чувства. Другие громко ругались, кляня господ офицеров и всех святых.

— Посмотри-ка, как он на нас уставился! Хохоchet. Думает, что и мы спешим к ним! — громко сказал какой-то солдат, наклонившись над трупом.

— Шире шаг! Шире шаг! — надрывался Гёргени.

В голосе лейтенанта тоже слышался страх. Чтобы как-то скрыть его, он начал подталкивать и бить солдат, ругаясь на чем свет стоит.

— Трусливые негодяи, небось уже наложили в штаны!

Цегледи наклонился ко мне, засмеялся, показал глазами в сторону лейтенанта и прошептал:

— Посмотри-ка на этого несчастного, его больше нас трясет от страха!

Мы ускорили шаг. Повсюду стоял удушающий запах разлагающихся трупов. Кто закрывал нос ладонью, кто платком. Цегледи уже не обращал внимания на бежавшего впереди колонны лейтенанта и снова взял у Шаркези его винтовку, поддерживая учителя одной рукой за ранец.

Когда Андраш Тана оглянулся назад, я прочел в его взгляде страх и отвращение.

Наконец участок с трупами остался позади.

Один из офицеров, шагавших впереди, скомандовал: «Стой!», а затем: «Вольно!», несмотря на то что Гёргени хотел гнать людей дальше. Видимо, ему хотелось уйти подальше от этих трупов.

Несколько солдат от усталости и трупного запаха упали в обморок. Шаркези держался молодцом. А когда все расположились у дороги на траве, он наклонился ко мне и тихо, но с горечью сказал:

— Человек выносит больше, чем любое животное!

— Что же будет дальше? — вздохнул Цегледи.

Мы замолчали, так как глаза слипались от усталости.

Проснулись мы от того, что унтер-офицер Киш ногами будил нас, а офицеры уже строили полусонных солдат:

— Рота, шагом — марш!

СОЛДАТСКИЕ БОТИНКИ

Мы прибыли на место назначения, где должны были охранять две артиллерийские батареи.

Батарея заняла огневые позиции на северном склоне холма, с которого обстреливала позиции сербов. Когда мы прибыли на огневую позицию, там царило временное затишье. Часть артиллеристов чистила и приводила в порядок орудия, часть сгружала с зарядных повозок снаряды, укладывая их между лафетами. Остальные рыли у подножия холма могилы, чтобы похоронить убитых солдат. В большую яму закапывали убитых лошадей. Трупы солдат валялись по всей позиции между орудиями, где их настигла смерть. Один артиллерист с оторванной ногой и раскинутыми руками лежал на земле лицом вниз, будто хотел поглубже засунуть голову в землю. В кулаке одной руки он судорожно сжимал пучок травы.

Но мы уже привыкли к подобным картинам и, казалось, с безразличным видом отвернулись от убитого.

Неподалеку от холма лежала долина, поросшая редким лесом. Как только мы пришли туда, сразу же сняли со спины ранцы, бросили на землю винтовки и развалились под деревьями. Одни сразу же захрапели, другие долго чесались и давили вшей.

Андраш Тана, лежавший неподалеку от меня, временами украдкой поглядывал в мою сторону, но скоро и он уснул.

— Эй вы, желторотые, — закричал нам усатый артиллерист, — дали бы нам пару жбанчиков палинки! Да и вам выпить не мешает: скоро вам всыплют!

Я тоже скоро заснул, несмотря на громкий хохот артиллеристов. Сквозь слипавшиеся от сна веки видел, как наши офицеры и офицеры-артиллеристы прятались в убежище, отрытом в склоне холма. У меня же не было ни малейшего желания бежать к ним, да они и сами сказали бы мне: «Место желторотых кадетов вместе с солдатами». Так с самого начала моей службы в армии росла пропасть, отделявшая меня от офицеров.

Потом я начал разгадывать какие-то загадки. Затем мне почудилось, будто надо мною в образе ангела-хранителя порхает Шарика, и я почувствовал, как мой рот растягивается в блаженной улыбке.

...Разбудил меня страшный грохот. Земля под нами ходила ходуном. Мы повскакивали на ноги.

Одни машинально хватали ранцы и винтовки, другие, ничего не понимая, бежали в глубь леса. Над нашими головами, свистя и завывая, пролетали снаряды. Падали деревья. Некоторые солдаты, словно кроты, штыками копали себе ячейки.

В короткие минуты затишья со стороны наших огневых позиций до нас доносился дикий хохот и обрывки разговоров:

— Эй вы, крысы и мышата, куда бежите? Отсюда никуда не убежишь!

— Вот когда пригодилась бы палинка!

— Гляди-ка, эти желторотые боятся такого пустячного обстрела! Ничего, скоро привыкнет! Мы уже давно привыкли. Что же с ними будет, когда они попадут в первую траншею? Уж не думают ли они, что всю войну так и просидят за нашими спинами? — И артиллеристы захохотали еще громче.

Начали стрелять и наши батареи, разрывая воздух ревом снарядов. Снаряды сербской артиллерии стали рваться все ближе и ближе к нашим орудиям.

И снова на батарее стали падать люди и лошади. Шрапнель и осколки гранат прочесывали лесок. Взрывы снарядов смешались с дикими криками людей и ржанием лошадей. Солдаты бежали к трупам лошадей, чтобы укрыться за ними. Стоило снаряду попасть в это место, как в воздух взлетали комья земли, человеческие руки, ноги, лошадиные копыта и внутренности.

— Вот она, человеческая цивилизация! — заметил Шаркези спокойным голосом. Ему, видимо, было на все наплевать. Лежа на земле, он протирает очки, чтобы лучше видеть. На лице его застыло какое-то неопределенное выражение.

На нас, чтобы прикрыть своим могучим телом, лег Цегледи.

— Вот оно, наше первое боевое крещение, — улыбаясь, проговорил он, когда грохот на миг смолк. — После этого нам уже будет легче.

Через несколько дней нас перебросили на другой участок фронта. Для прикрытия артиллерии прибыла новая часть.

Фронт медленно перемещался вперед. Мы шли за ним.

Длительные переходы утомляли нас, к тому же мы все чаще и чаще попадали под огонь артиллерии противника. Со временем мы пообтерлись, стали привыкать к огню. Мы уже по звуку могли отличить гранату от шрапнели. Осколочных гранат боялись больше: стоило ей разорваться где-нибудь поблизости, как осколки так и сыпались во все стороны. Шрапнель же рвется только вперед. По звуку летящего снаряда мы почти безошибочно могли определить, где он разорвется: впереди нас или позади, и в зависимости от этого бросались назад или вперед.

Время шло к зиме. Однажды всем нам выдали новые солдатские ботинки, чему мы очень обрадовались. От длительного хождения по каменистому грунту наша старая обувь совсем развалилась. Обмундирование завшихло, а белье было черней черного. Ботинки нам дали, но ни белья, ни обмундирования мы не получили. Офицеры приказывали самим стирать и чинить белье.

Первыми предвестниками приближавшейся зимы были холодные дожди со снегом. Мы шли по колено в воде. Новые ботинки пришлись как нельзя кстати.

На четвертый или пятый день перехода то один, то другой из нас поглядывал на свои новые ботинки, внимательно разглядывая подошву, словно кузнец плохо подкованную лошадь.

— Посмотри-ка на мои ботинки, — с трудом вытаскивая из грязи ногу, сказал Цегледи. — Вроде бы и целые, а пропускают воду, как сито.

Многие ругались.

На ближайшем привале большинство солдат с удивлением разглядывало свою обувь.

— Ты только посмотри, дружище! — подняв ногу, говорил молодой солдат своему соседу.

Тот, к кому обращались, долго изучал башмак соседа, потом опускал его на землю и тут же начинал разглядывать собственные ботинки. Затем раздражался грубой бранью и в гневе колотил кулаком по подошве, а потом так бил ногами по земле, что во все стороны летели брызги грязи и воды.

— Мать их так! От подметки, считай, ничего не осталось. Вон уже и портянка торчит! Что же это за подметки? Ведь мы только получили ботинки!

— Да ведь подошва-то из картона! Смотрите! — за-

кричал один из солдат. Счистив с подошвы грязь, он начал ногтем колупать подошву. Другие тоже стали колупать, тереть и даже нюхать подошву.

— Ну конечно, самый настоящий картон!

— Как же это так? — удивлялись солдаты.

— А вот так: фабриканты-обувщики захотели на этом деле заработать и поставили армии ботинки на картонной подметке, — объяснил Шаркези.

Солдаты с удивлением смотрели друг на друга, потом на Шаркези: они не сразу поняли смысл сказанного. Верили и не верили.

— Неужели такое возможно? — спросил кто-то неуверенным голосом.

— А почему бы и нет? — забасил Цегледи. — А на какие же, по-вашему, денежки господу распивают шампанское в столице, в то время как мы издыхаем здесь, на фронте?

— А не все ли равно — умирать в ботинках с картонной подошвой или с кожаной? — равнодушно спросил Шаркези. — Смерть есть смерть!

— Что здесь происходит? Что здесь такое? — раздался недовольный голос Гёргени и следом за ним ругань унтер-офицера Киша.

Кто-то бросил свой ботинок под ноги лейтенанту.

— Нам выдали ботинки с картонными подметками, господин лейтенант!

Гёргени с отвращением отбросил ногой грязный ботинок.

— Вы мне не суйте свой вонючий башмак! А когда разговариваете с офицером, встаньте как положено, а то я вам голову оторву!

Солдат вскочил и принял положение «смирно». Одна нога у него была в ботинке, другой, босой, он встал прямо в грязь. Остальные солдаты с ненавистью смотрели на лейтенанта, однако страх перед ним оказался все же сильнее, особенно здесь, на фронте, когда каждый из них в любую минуту мог получить пулю в лоб от кого-нибудь из офицеров. Все молчали, стиснув зубы.

— Это ложь, что в австро-венгерскую армию поставляют обувь на картонной подошве! — орал Гёргени. — А если вы здесь решили бунт организовать, так я вас мигом успокою! Понятно? Марш!

Все начали неохотно наматывать на ноги портянки и

надевать ботинки. Колонна снова тронулась в путь. В ботинках у всех чавкала жидкая грязь.

Наконец мы догнали свой полк. Встретили нас с ликованием:

— Ну, наконец-то прибыло пополнение!

Солдаты нашего полка были одеты хуже нас. Мы не упустили случая и тут же стали демонстрировать портянки, торчавшие из ботинок.

— А таких у вас нет?

— И у нас точно такие же! — крикнул кто-то. — Только что получили!

Полк двинулся дальше.

Нам предстояло перевалить через гору. Как только мы приблизились к вершине, противник встретил нас сильным пулеметным огнем, а затем заговорила и его артиллерия.

Полк начал отходить, но вернуться в лошину уже было нельзя: сербская артиллерия так и сыпала снарядами.

Трое суток пролежали мы на склоне горы. На четвертые сутки полк отошел на старые позиции. Всех тотчас же сморил сон. Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за плечо.

Я открыл глаза и увидел Шаркези.

— Господин кадет, вставайте! Мы выступаем дальше!

От усталости я никак не мог проснуться и почти не понимал, что он мне говорит.

— Эй ты, вонючая сволочь, вставай! Марш! — окончательно привел меня в себя крик унтера.

ВАЛЕВО

Под Валево мы простояли целых две недели. Полк понес огромные потери. На наши окопы беспрестанно сыпался град снарядов. Перед нами — огневая завеса из шрапнели и осколочных снарядов. За нашей спиной — заградительный огонь противника. Огонь был настолько сильным, что санитары даже не могли вынести из окопов раненых. Убитых мы сами выбрасывали из окопов за тыльный бруствер, чтобы они не мешали нам.

Шаркези неподвижно лежал на самом дне окопа. Рядом — винтовка, которую он даже для вида не клал на бруствер окопа. Взглянув на винтовку, Шаркези еще больше помрачнел и, глядя прямо перед собой, забормотал:

— Детки мои милые... цыплятки...

Цегледи посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы без слов прекрасно понимали друг друга. Во время артиллерийской канонады много не наговоришь, разве что обмолвишься словом-другим в минуту затишья. Но даже в такие минуты не хотелось говорить: мысли были дома.

Я заметил, что Андраш Тана все сильнее тянется к нам. Вот уже несколько дней он явно хотел что-то сказать мне, но не решался. За это время он сильно изменился: лицо заросло щетиной, почернело, и узнать его можно было только по глазам. Взгляд же его скорее походил на взгляд дикого зверя.

Кое-кто из оставшихся в живых солдат отстреливался, не глядя, куда стреляет. Другие сидели на дне окопа, следя испуганными глазами за полетом шрапнели. Некоторые вытаскивали из карманов письма, полученные от родных, вертели их в руках, а затем нервным движением прятали их обратно: знали их наизусть. Остальные, вытянув руки в сторону бруствера, грозили кому-то кулаками, кричали что-то, но их крик заглушал грохот разрывов. И только в недолгие секунды затишья было слышно, как они проклинали все на свете, в том числе и тот день, когда появились на свет.

Наконец подали сигнал атаки. Я потряс за плечо оцепеневшего Шаркези, и мы поднялись. Я и Цегледи не спускали со старика глаз и, прежде чем лечь на землю, заставляли ложиться его.

Прорвав линию обороны сербов, мы захватили Валево. Командование отдало город на полдня на милость победителей.

Пить спиртные напитки солдатам разрешалось только после того, как их попробует кто-нибудь из местного населения: боялись отравления.

Что же касается питьевой воды, то ее почти не было не только в Валево, но и во всей Средней Сербии. Где не было воды, пили сливовицу — крепкую водку из слив. Этого напитка везде было вдоволь: в каждом доме, подвале или во дворе стояла бочка сливовицы.

Солдаты группами и поодиночке разбрелись по городу. Полдня в частях не было никакой дисциплины.

Шесть месяцев солдаты спали, не раздеваясь, не мылись в бане; шесть месяцев у них над головой не было

человеческого крова. Грязное обмундирование буквально кишело вшами. На привале мы подшучивали друг над другом, говоря, что теперь отдохнем по-королевски, а вместо отдыха приходилось ложиться прямо в грязь.

И вот эти-то озлобленные люди наводнили Валево, наслаждаясь предоставившейся, вернее, данной приказом, «свободой»: теперь они могли безнаказанно и безбоязненно убивать, грабить и насильничать. Командование умело направило их злость на противника, отведя ее от австрийских и венгерских графов, баронов, императора и генералов. Мы потихоньку перешептывались об этом между собой, свернувшись, словно гусеницы, на дне окопа. Шаркези что-то еще бормотал о свободе, но скоро и он стал все реже и реже упоминать это слово.

Потом мы втроем долго бродили по городу с единственным желанием — найти где-нибудь тихий домик и как следует выспаться в мягкой, чистой постели.

Тихий домик? Мягкая, чистая постель, когда в городе творилось бог знает что?!

Солдаты ломали ворота и калитки, врывались в подвалы и, выкатив оттуда бочонок сливовицы, заставляли хозяина с хозяйкой пробовать ее, после чего, уже не боясь отравиться, пили сами, припав ртами прямо к бочке. Пили до тех пор, пока не пьянели. А потом растекались по городу, грабя, убивая и насильничая.

Проходя мимо одного дома, мы увидели, как трое солдат во дворе открывали штыками и топором бочку. Четвертый солдат стоял рядом с бочкой и держал за волосы старуху хозяйку. Сухонькая, сгорбленная старушка судорожно билась в руках солдата. Рот ее был широко раскрыт, губы шевелились. Она, казалось, зывала о помощи, но из горла вылетал только хрип. Руки старушки уже не подчинялись телу и жили своей собственной жизнью: конвульсивно поднимались и опускались.

— Смотри-ка, аплодирует, старая ведьма! — заметил солдат, выбивающий топором крышку бочки.

— Обрадовалась гостям! — хохотал другой солдат. — Она еще и танцевать начнет, когда мы ее напоим как следует.

Все четверо дико захохотали, а солдат, который держал старуху за волосы, приподнял ее и стал приговаривать:

— Уж не влюбилась ли ты в нас, мамаша? — И повернул старушку к себе лицом.

— Ну, а теперь пусть она попьет из бочки! — распорядился третий солдат. — Пусть попробует, хорош ли напиток!

Двое солдат подхватили старушку под руки, подтащили к бочке, подняли и начали окунать головой в сливовицу. Когда они повторили эту операцию раз пять-шесть, голова старушки безжизненно замоталась на длинной, худой шее. Платье, облитое водкой, прилипло к телу. Мы вбежали во двор, выхватили старуху из рук солдат, но было уже поздно: бедняга не дышала. Солдаты склонились над бочкой и начали пить водку. Я стал кричать на них. Разглядев пьяными глазами мои нашивки кадета с тремя звездочками на петлицах, они перестали пить и инстинктивно застыли в положении «смирно». Один из солдат, который был сильно пьян, подмигнул мне, разглядывая мои знаки различия пьяными глазами, в которых вдруг загорелся злой огонек. Неожиданно он громко закричал:

— А, господин офицер! Хотя, черт возьми, сейчас нет никаких господ офицеров! Мы сейчас свободны! — И он обратился к своим друзьям. — Ребята! Вот кто нас сюда загнал! Господа офицеры и генералы! Это из-за них мы бросили свои дома и семьи! Вот мы сейчас и заставим танцевать господина офицера!

Выкрикнув все это, солдат выхватил из ножен штык и бросился на меня. Трое его дружков тоже схватились за штыки. Все четверо мертвецки пьяные, но в глазах у каждого злость и ненависть, скопившиеся с самого начала войны.

Цегледи подскочил к пьяному солдату, который был ближе всего ко мне, и сбил его с ног, остальные зацепились за него и повалились друг на друга.

Шаркези, словно неживой, наблюдал за этой картиной. Во взгляде его затаилось беспокойство и отвращение, когда он видел, как пьяные издеваются над пожилой женщиной. Мы с Цегледи разозлились не на шутку, причем не столько на солдат, сколько на тех, кто погнал нас на эту войну.

Пьяных мы оставили в покое. Шаркези склонился над старушкой, ища в ней хоть какие-нибудь признаки жизни, потом поправил ее седые волосы, встал и отвернулся, чтобы мы не видели его лица.

Таким было одно из первых проявлений дарованной нам «свободы». И в какой бы дом мы ни заглядывали, повсюду видели подобные сцены. Солдаты заставляли стариков и детей пить водку, кололи их штыками.

Напившись, они врывались в первый попавшийся дом, били, что под руку попадало, ели и пили, а остатки пищи разбрасывали по двору или затапывали в грязь.

Мы шли дальше по улице. Из одного дома, шатаясь из стороны в сторону, вышел лейтенант Гёргени. Через распахнутую настежь дверь доносились дикие крики, пение и звон стаканов: это веселились офицеры штаба полка. По крикам и по тому, как из стороны в сторону бросало лейтенанта Гёргени, можно было заключить, что офицеры перепились. Увидев, как в соседнем доме солдаты выбросили через распахнутые окна и двери трупы убитых хозяев, Гёргени весело закричал им:

— Давайте, давайте, ребята! Режьте всех сербов подряд! На всем белом свете только венгры — настоящие люди!

Захохотав, лейтенант вошел обратно в дом, из которого только что вышел.

По всему городу лилась кровь и полыхали пожары.

Закрыв лицо руками, Шаркези бросился бежать. Нам пришлось удерживать его.

Сделав несколько шагов, Цегледи неожиданно остановился и с отвращением посмотрел на свою винтовку. Потом поднял ее с желанием разбить о мостовую. Молнией в моем мозгу мелькнула мысль: «Придет время, и пролетариату понадобится оружие». Схватив Цегледи за руку, я посмотрел ему в глаза и произнес:

— Это оружие может нам понадобится!

Смерив меня внимательным взглядом, Цегледи понял, что я имел в виду, и перекинул винтовку через плечо.

В ту ночь мы спали в каком-то сарае. Войти в дом не решились: боялись натолкнуться на трупы хозяев.

ГЕНЕРАЛ ОТ ГУМАНИЗМА

Бежавшие впереди солдаты громко кричали:

— Урр-а-а!.. Урр-а-а!.. Урр-а-а!..

Я бежал впереди взвода. Цегледи был рядом с Шаркези. Несколько раз учитель спотыкался и падал, но

Цегледи тут же помогал ему встать на ноги, и они снова бежали.

Сербы открыли по нас артиллерийский огонь. Мы залегли, чтобы через несколько секунд снова вскочить и бежать дальше. На убитых и кричавших от боли раненых мы не обращали никакого внимания. За нами шли солдаты второго эшелона. Позиции сербов были сильно укреплены. Чувствовалось, что после потери Валево они сосредоточили все свои усилия на этом участке фронта. Видимо, противник готовился к контрнаступлению. Наше командование, введя в бой большую часть резервов, организовало наступление в три эшелона.

Сербы обстреливали нас ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Адский грохот разрывов и дикие крики наступавших слились воедино. В людях уже не осталось ничего человеческого.

Наконец мы добежали до первой траншеи противника. Сербы не выдержали и начали отходить во вторую траншею.

Наступавшие заполнили брошенную противником траншею. Цегледи поддерживал за пояс еле живого Шаркези. Лицо учителя стало землисто-серым, синие губы дрожали. Оказавшись в окопе, он сразу же сел. Мы подумали, не ранен ли он. Оказалось, нет, просто силы отказали ему. Когда учитель стал приходить в себя, он улыбнулся нам своей кроткой улыбкой и все еще дрожащими губами сказал:

— Ничего не случилось, не беспокойтесь! Хорошо, что все вы живы!

На дне окопа то тут, то там валялись трупы сербов, которые противник не успел забрать с собой. Сербы открыли по занятой нами траншее артиллерийский огонь, и нам волей-неволей пришлось лечь прямо на трупы.

Постепенно артиллерийская канонада стихла. Противник, поняв, что нас уже не выбить из первой траншеи, поставил заградительный огонь перед своей второй траншеей, чтобы воспрепятствовать нашему дальнейшему продвижению. Но мы все равно не смогли бы продвинуться вперед ни на шаг, так как были измотаны до предела.

Сербы закрепились во второй траншее и стали ждать

нашего дальнейшего наступления, в то время как мы собирали оставшихся в живых.

Так продолжалось несколько дней. И чем дольше мы находились в этом окопе, валяясь в грязи среди трупов и нечистот под огнем противника, тем больше солдат, охваченных ужасом и страхом, теряло душевное равновесие. О дальнейшем наступлении на противника не могло быть и речи. Надежды на получение пополнения — никакой. Стоило кому-нибудь из нас высунуть голову из окопа, как противник тотчас же открывал по этому месту ожесточенный огонь из пулеметов. Более того, в любой момент можно было ожидать, что противник перейдет в контрнаступление. Однако дни шли за днями, а сербы не предпринимали никаких действий: не знали, что за силы находятся перед ними. Так мы и стояли нос к носу.

А ждать бог знает чего в вонючих окопах было самое страшное. Находиться под огнем противника нам приходилось и раньше, но сидеть и лежать на разлагающихся трупах «посчастливилось» впервые.

Некоторые закрывали нос платком или куском портянки. Наш санитар объяснил нам, что, если платок смочить водой, запах будет слышен не так сильно. Но где взять воды? Те, у кого в фляжке оставалась хоть капля воды, начали смачивать свои платки. Кое-кто смачивал платки сливовицей, но от одного ее запаха у солдат начинала по-пьяному кружиться голова и тянуло ко сну.

На второй день пребывания в окопах мы почти полностью «переоборудовали» их. В минуты затишья некоторые солдаты зашивали свое обмундирование или штыком выцарапывали на стенке женские имена: «Марика», «Илонка», «Яника» и «дорогие мои цыплятки». Те, кому недавно посчастливилось получить письмецо, доставали его из кармана и перечитывали еще и еще.

Некоторые вынимали пожелтевший и уже порядком испачканный лист бумаги в клеточку, привезенный, видимо, еще из дому, ставили на колено котелок и, положив на его дно листок, крупными буквами начинали писать письмо родным: «Дорогая и любимая женушка, получил от тебя известие, что ты пребываешь в добром здравии. Не горюй, когда-нибудь и мы вернемся домой, и зацелую же я тебя тогда, жизнь моя, и детишек наших.

А соломенную крышу на доме ты, пожалуйста, не забудь перекрыть, а то начнет течь и тогда вы простудитесь...»

Были и такие, которые не умели писать. Они подходили ко мне и просили:

— Господин кадет, вы всегда так добры к нам, напишите, ради бога, несколько слов жене, матери и детишкам! — И начинали диктовать текст подобного же рода.

Каждое письмо было суровым обвинением тем, кто послал солдат на эту ненужную им войну.

А я все писал и писал письма.

Мне самому захотелось поскорее увидеть Шарику. Что с ней? Приняли ли ее в университет? Или она работает учительницей? Не обижают ли ее? Я невольно вспомнил историю с ботинками, и меня охватила злость. Перед глазами поплыли трупы солдат и куски изуродованных человеческих тел. В душе поднялась волна неумной злости против лейтенанта Гёргени, который хвалил солдат за их бесчинства над беззащитным населением. Хохочущую физиономию Гёргени сменила искаженная злобой усмешкой рожа Кохари. Я весь превратился в клубок нервов.

Достав письма Шарики и отца, я стал перечитывать их, чтобы хоть немного успокоиться. Тут же спешно написал письма обоим, словно боялся, что больше мне не удастся написать им. Просил Шарику беречь себя, обещал в скором времени вернуться домой, хотя сердцем чувствовал, что домой мне не вернуться еще очень и очень долго. Может быть, и никогда не суждено... На душе стало невыносимо тяжело. Да и получают ли они мои письма?

Цегледи каракулями выводил: «Дорогая моя жена, дорогой сынок, доченька...» Я видел, как крупная слеза набежала ему на глаза и медленно скатилась по щеке.

Шаркези стоял возле нас, прислонившись спиной к стенке окопа, и неподвижно смотрел себе под ноги. Неожиданно он поднял взгляд вверх, словно искал на небе выход из окопа. После взятия Валево он почти не разговаривал с нами. Когда же мы сами заговаривали с ним, он смущенно смотрел на нас из-под очков, причем взгляд его бегал из стороны в сторону, а через несколько секунд Шаркези вообще отворачивался или смотрел пря-

мо перед собой в пустоту. Когда я спрашивал его, почему он не сядет, не приляжет, не отдохнет немного, Шаркези вздрагивал и смотрел на трупы. Если же учитель замечал, как кто-нибудь из солдат концом штыка выводит на стенке окопа дорогое для себя имя, он с тревогой во взгляде читал надпись, а все тело его дергалось, будто он готов был выскочить из окопа. Глаза застилали слезы, и он чуть слышно шептал: «Милые мои цыплятки...»

— Ну вот и наш генерал от гуманизма пригорюнился, — захихикал один из солдат, заметив у учителя слезы.

— Ты эти шуточки брось! Кто обидит генерала, будет иметь дело со мной! — вступился за Шаркези сосед.

— Он, может, самый порядочный человек среди нас, — поддакнул другой и, повернувшись к шутнику, добавил: — Понял? Человек! А не скотина, как ты!

Процедуру писания писем время от времени приходилось прерывать: мешал огонь противника. Потом снова наступало короткое затишье.

Во время одной такой паузы ко мне подполз Андраш Тана. Сначала он приглядывался ко мне, не прогоню ли я его. Лицо его заросло щетиной. В голубых глазах затаилась печаль.

— Яни! — начал было он, но тут же, спохватившись, продолжал: — Господин кадет!

— Называй меня, как и прежде, Яни, — подбодрил я парня. — Ведь мы же друзья!

Андрашу сразу стало легче. Он окинул взглядом окоп и спросил:

— Ты на меня не сердишься?

— А почему я должен сердиться?

— Помнишь тогда, в поезде, — с трудом подыскивая слова, пробормотал Андраш. — Напал на тебя за то, что ты сказал: «Мы идем умирать не за короля, а за свиней графа Тисы».

— Забудь об этом. Никто из нас не знает, за что будем умирать.

Андраш посмотрел мне в глаза.

— Нет, теперь и я знаю. Ты был прав. За таких, как Тиса, мы и погибаем, да за тех, кто посылает нам негодные ботинки. С тех пор как мы сидим в этой дыре, у меня не выходит из ума, как я мог тогда обидеть тебя. Ты столько учился и знаешь больше каждого из нас.

А ведь всем нам нужно знать больше. Теперь я уже не сержусь на тебя за то, что ты уехал учиться. Жаль, что мне не пришлось.

В глазах Андраша появилась решимость.

— Всем нам нужно уметь разбираться.

Я взял его за руку и притянул к себе.

— Придет время, Андраш, когда мы будем знать столько, что нас уже нельзя будет втоптать в грязь. Тогда нас уже не удастся послать на такую войну, где мы должны умирать ради интересов других. Жизнь тогда будет мирная, красивая, — успокаивал я Андраша. — Ну, давай твою руку и не будем больше сторониться друг друга!

Мы крепко пожали друг другу руки.

— Ну и ты давай свою лапу! — шутливо бросил я Цегледи, который с удивлением смотрел на нас. Лицо Цегледи расплылось в широкой улыбке, а его большая рука легла на наши сжатые в рукопожатии руки.

— Ну, рука крестьянина, кузнеца и... — Он замолчал и, бросив на меня беглый взгляд, шутливо заметил: — И господина учителя. Вот тебе и святой тройственный союз. Теперь нас ни бог, ни черт не разъединит! — Снова хитро улыбнувшись, добавил: — Если этот господин не продаст нас! — И, довольный собственной шуткой, рассмеялся.

Мы тоже засмеялись. Я смеялся от души, так как невольно вспомнил наше общество. От воспоминаний на душе сразу стало легко, хотя в тот момент мы вряд ли понимали, в чем заключается смысл нашего тройственного союза. Этот смысл мы постигли позднее, когда тайком стали заниматься среди солдат антимилиитаристской пропагандой, вовлекая в наш союз новых членов.

Тана с тех пор ни на шаг не отходил от нас.

— А как же с Шаркези? — как-то шепнул мне Цегледи.

Я ничего не ответил ему, и мы оба поползли к старику, который сидел в углу траншеи. Он слегка улыбнулся нам теплой и благодарной улыбкой.

На третий день сербы открыли по нашим позициям ураганный огонь. Все мы, казалось, оглохли от грохота. Трупный запах к тому времени стал совсем невыносимым.

Чтобы как-то ответить сербам, мы начали стрелять в воздух. Солдаты ругались на чем свет стоит:

— Кому нужна эта дыра! Пошли отсюда!

— В аду и то лучше, чем здесь!

Самым спокойным из нас оказался Шаркези. Он сидел, согнувшись, в своем уголке и неподвижно глядел прямо перед собой. Даже во время самого сильного обстрела он не дотрагивался до своей винтовки. Шевелил только дрожащими губами, словно молился или разговаривал сам с собой. В моменты, когда грохот артиллерийской канонады смолкал, до нас долетали обрывки слов, которые он бормотал:

— Штыком, штыком... В кроватку младенца! — Он закрывал лицо руками и бормотал, бормотал...

Начавшаяся перестрелка снова заглушила его слова. Цегледи переглянулся со мной. Я кивнул ему, давая понять, что старика нужно оставить в покое.

— Я-то уж знаю! Выучился на учителя, садовником душ человеческих стал. Разве может быть призвание выше и благороднее этого — заботиться о самом удивительном создании природы, раскрывать его, растить... Из него может вырасти пустоцвет, но может вырасти и удивительный по красоте цветок. Человек с чистой душой или создание хуже лютого зверя, способное убивать женщин, детей... — И, посмотрев на кучу трупов, лежащих в сторонке, учитель истерично рассмеялся. — А как смердит этот вот венец творения! — Он закрыл лицо руками.

Через мгновение учитель снова разговаривал, казалось, со своими детишками:

— Цыплятки мои, милые мои цыплятки, где-то вы сейчас? В саду играете с цветочками, или в ваши хрупкие души вливают яд? И огрубеет человеческая душа... — Он снова расхохотался. — Душа! Штыком, штыком нас! Для этого сюда и пригнали!

Неожиданно Шаркези вскочил и схватил свою винтовку. Глаза его лихорадочно горели. Стиснув зубы, он, словно пружина, выскочил из окопа и, прежде чем мы успели опомниться, побежал по направлению к сербским окопам. На миг мы все остолбенели. Я хотел бежать за ним, но Цегледи удержал меня. Пушки как раз перестали стрелять, и было хорошо слышно, что кричал помешавшийся Шаркези:

— За мной!.. Вперед!.. Бейте этих подлецов!..

С винтовкой наперевес несчастный пробежал всего несколько шагов. Даже его маленькая, щуплая фигурка казалась громадной на фоне безлюдного поля. Неожиданно из окопов противника раздалось несколько пулеметных очередей — и генерал от гуманизма как сноп повалился на грязную, неуютную землю.

Из нашего окопа никто не стрелял. Несколько солдат целовко стащили с голов шапки, чтя память Шаркези.

ЯНОШ И МИЛАН

После того как в наш полк прибыло пополнение, был получен приказ начать наступление. В атаку я шел плечом к плечу с Цегледи. Дружное «ура» смешалось с винтовочным треском и татаканьем пулеметов. Тана старался не отставать от нас.

Противник встретил нас сильным огнем. Чувствовалось, что на данном участке фронта ему удалось сосредоточить большие силы, которыми он и надеялся перейти в контрнаступление.

На некоторых участках наступающие замешкались и залегли, а в двух местах даже начали отходить. Офицеры кричали на солдат, угрожая оружием. Я видел, как унтер-офицер Киш застрелил нескольких солдат. Чтобы как-то выправить положение, командование подбросило в эти места резервы. И все же наступление на некоторое время застопорилось. Тогда наша артиллерия открыла огонь по позициям противника. На нескольких участках сербы не устояли и начали отходить, зато на других держались стойко.

Нашу роту снова подняли в атаку, поддерживая ее огнем артиллерии. Я и Цегледи бежали в направлении огромной воронки от снаряда. Добежав до воронки, Цегледи благополучно скатился на дно ее, а я вдруг почувствовал сильный толчок в левую ногу и кубарем полетел на землю.

Цегледи не сразу заметил мое отсутствие. Наслаждаясь минутной передышкой, он, казалось, забыл обо всем на свете. Но вот, подняв голову, он начал искать глазами меня.

Я потерял сознание и лежал за большим камнем. Опомившись, начал ощупывать себя, чтобы убедиться,

не ранен ли еще куда-нибудь кроме ноги. Кажется, нет. Да и рана на ноге только жгла.

Во мне заговорил инстинкт самосохранения: ранение ноги? Чепуха! Что значит ранение в таком аду? Хотелось закричать от радости. Потом я невольно вспомнил о Шарике: наконец-то я смогу увидеть ее, если мне дадут отпуск. Обязательно напишу ей, что скоро она меня увидит. Я ранен, но пусть она не беспокоится. Рана не опасна.

— Ты ранен? — вернул меня к действительности крик Цегледи.

— Пустяки. В ногу.

Цегледи затащил меня в воронку.

— Берегись! Сзади! — крикнул я.

В воронку прыгнул сербский солдат. Цегледи молниеносно обернулся, держа винтовку наперевес.

Серб, по-видимому, тоже хотел укрыться в воронке. Он не сразу заметил нас. Когда же он увидел Цегледи, то уже не мог остановиться, ибо сбегал по крутому склону воронки вниз. В руках у него тоже была винтовка. Серб замер на месте, побелев как полотно. В больших темных глазах застыл ужас.

Цегледи хотел было проткнуть серба штыком, но мой крик остановил его:

— Нет! Нет! Не тронь его!

Цегледи остановился.

Серб с удивлением посмотрел в мою сторону. Он только сейчас заметил меня и еще больше испугался: двое против одного! Он еще крепче сжал винтовку, переводя взгляд с Цегледи на меня.

Прошло несколько томительных секунд.

Чтобы как-то снять напряжение, я, собрав все свои скудные знания сербского языка, закричал:

— Мы — братья! Братья... рабочие!

Цегледи, казалось, понял меня, но винтовку не опускал, внимательно глядя на серба и все еще опасаясь, как бы тот не пырнул его штыком. Наконец понял ситуацию и серб. Кровь прилила к его лицу, и оно прояснилось, хотя он не сводил напряженного взгляда с Цегледи.

Я довольно быстро, насколько позволяла раненая нога, подполз к ним, преодолевая боль.

— Братик! Братик! — кричал я. — Брось оружие!

Увидев, что я ползу к сербу, Цегледи осмелел и закричал ему:

— Бросай винтовку! Мы — братья! — И опустил дуло своей винтовки, все еще следя за каждым движением серба.

Винтовка в руках серба вздрогнула, и он тоже опустил ее.

Неожиданно оба как-то неестественно рассмеялись.

— Братик! Братик! — радостно залопотал серб, стуча кулаком по прикладу винтовки, будто обвиняя ее во всем, и засмеялся, обнажив два ряда белоснежных, здоровых зубов.

— Я Цегледи Янош, — ударяя себя по груди, начал объяснять Цегледи. — Кузнец я! — И, сжав руку в кулак, он изобразил молот.

Лицо серба еще больше просветлело, и он повторил жест Цегледи, словно хотел этим показать нам, что понимает его или, по крайней мере, согласен с ним.

— Я Ог-не-до-вич Ми-лан, — заторопился серб, представляясь нам. — Огнедович Милан!

— Дети есть? — не унимался Цегледи. И чтобы было понятнее, изобразил, как он качает на руках ребенка.

— Есть! Есть! — обрадовался Милан, показывая нам три пальца.

— Офицер. Кадет, но добрый офицер, — представил меня сербу мой друг.

Милан сначала с подозрением посмотрел на мои нашивки, но, поняв объяснение Цегледи, улыбнулся.

Оглядевшись, серб неожиданно начал пятиться к краю воронки, видимо желая выбраться из нее и поскорее догнать своих.

— Хороший братик! Хороший! Но мне уже пора...

Цегледи хотел потолковать с сербом о политике.

— Императора Йошку надо пиф-паф! И вашего короля Петера тоже!

Милан улыбнулся и кивнул:

— Надо, надо!

— Ну, тогда хорошо, дружище!

— Идти надо... иди! — Милан помахал рукой.

— Я — Янош, ты — Милан, — не унимался Цегледи и, повернувшись ко мне, добавил: — И кадет — друзья!

Серб бросил на меня взгляд, полный благодарности, быстро выскочил из воронки и исчез.

Меня и Цегледи охватило радостное чувство, будто оба мы только что одержали победу над беспросветной ненавистью и злом.

ОТСТУПЛЕНИЕ

— Друзья, поторопитесь, если вам дорога собственная шкура! — уговаривал я двух санитаров, которые несли меня на носилках в ближайший полевой госпиталь.

Однако санитары не сразу поняли, что я имею в виду. Они были явно довольны тем, что, вынося меня с поля боя, покидали передовую и тем самым спасали свою собственную жизнь.

— Теперь нам спешить некуда, господин кадет, — с облегчением сказал один из санитаров.

— Ну как вы не понимаете! — возразил им я и начал объяснять, что после поражения, которое мы только что потерпели, нашим войскам не останется ничего другого, как отступить, а если волна откатывающихся назад войск захлестнет и нас, то мы уже вряд ли останемся в живых.

Санитары внимательно выслушали мое объяснение и даже остановились, поставив на обочину дороги носилки, на которых я лежал; с озабоченным видом они начали оглядываться по сторонам, словно решая, куда им следует бежать, если придется.

— Уж не означает ли это, что война скоро кончится и мы вернемся домой? — поинтересовался один из санитаров.

— Ну, до этого дело еще не дошло. Однако если нас здесь догонят, то в живых нам не бывать.

Санитары быстро подняли носилки и понесли меня дальше, все время ускоряя шаг. Они шли даже ночью.

— Еще два дневных перехода — и будем в госпитале, — объяснил мне на другой день один из них.

Больше санитары со мной не разговаривали. Они все шли и шли, и, глядя на их задумчивые лица, я понял, что мысленно оба они уже дома. Дрожащими от волнения руками открывают знакомую калитку, бегут навстречу жене; трепеща от радости, целуются, наклоняются над детишками, с волнением наблюдая за их робкими шажками, смотрят, как они подросли, похорошели... Я тоже невольно размышлял о доме.

Нога моя стала меня сильно беспокоить. Теперь боль отдавалась где-то в голове. Под вечер становилось довольно холодно, а у моих спасителей не было даже одеяла, чтобы накрыть меня. Потом пошел дождь со снегом, который пронизывал меня до самых костей. Временная повязка, сделанная санитарями, от крови промокла. По телу начал разливаться жар. А санитары все шли и шли...

За ночь санитары остановились лишь на полчаса передохнуть в заброшенном шалаше у дороги.

— Пошли дальше, а то до госпиталя еще далеко! — торопили они сами себя.

Так прошел еще один день. Я предложил им сигареты, но они в один голос запротестовали:

— Господину кадету они сейчас нужнее!

Наконец на горизонте, справа от дороги, мы увидели развевавшийся на ветру белый флаг с красным крестом посередине. Полевой госпиталь размещался в большом здании, похожем на замок какого-нибудь землевладельца.

В той стороне, откуда мы шли, уже раздавались далекие артиллерийские взрывы: фронт неотступно преследовал нас. Не успели меня донести до госпиталя, как на дороге послышался грохот мчавшихся во весь дух военных повозок, подгоняемых крепкой руганью и криками.

Подойдя к воротам госпиталя, санитары поставили носилки на землю, а сами пошли доложить о прибытии раненого. В госпитале творилось что-то невероятное. Из здания то и дело выносили носилки с ранеными и устанавливали их на только что прибывших подводах. Госпиталь спешно эвакуировался в тыл.

— Госпиталь перемещается в тыл, и они не принимают новых раненых, — сообщил мне санитар.

— Сейчас же отнесите меня в палату! — закричал я на него. — Пусть сделают хоть перевязку.

— Я уже говорил врачу, но он и слушать не хочет.

— Несите меня в здание, я сам с ними поговорю! — потребовал я.

Меня поднесли к главному входу, но внести носилки внутрь не удалось — не пустили. У здания взад-вперед сновали солдаты, врачи, сестры, которые выносили тяжелораненых; легкораненые с перевязанными руками и ногами выходили сами. Все торопились поскорее занять

местечко на повозке, толкая тех, кого туда уже положили. Порой дело доходило чуть ли не до драки. Со всех сторон неслись крики и брань.

— Я только что прибыл с передовой! Хотя бы перевяжите меня! — закричал я врачу, вышедшему из здания.

Но он только махнул рукой и побежал дальше. Тогда я схватился за пистолет и закричал ему вслед:

— Буду стрелять!

Врач остановился и обернулся, разглядывая мои нашивки. Меня снова охватил порыв ярости, и я заорал:

— Вы не на нашивки смотрите, а на человека!

Врач кивнул санитарам, чтобы они внесли меня в здание, и там быстро сделал мне перевязку.

— Благодарю вас и прошу меня извинить, — тихо сказал я врачу, когда он закончил перевязку.

Наши взгляды встретились. Глаза врача были усталыми и печальными. Он пожал мне руку и, уходя, заметил:

— Нужно спасать госпиталь, видите ли...

— Полная эвакуация? — поинтересовался я.

— Да, полная! — коротко ответил врач и удалился.

Я попросил санитаров, которые ждали меня около носилок, чтобы они попытались пристроить меня на одну из санитарных повозок. Они поднесли меня к повозкам, но там была такая толчея, что о том, чтобы попасть на них, нечего было и думать. Тогда я попросил их вынести меня на дорогу и положить на обочине: авось какая-нибудь подвода, едущая с фронта в тыл, подберет меня.

Я поблагодарил санитаров и посоветовал им поскорее уносить отсюда ноги, пока не поздно.

Они наклонились надо мной и, пожав мне руку, побежали догонять госпитальные повозки.

Прошло еще немного времени. Наконец на дороге показалось несколько подвод, а за ними еще и еще... Их было так много, что некоторые ехали прямо по полю. Дикие крики, гиканье, ругань — все слилось в какой-то ураган. Скоро между мчавшимися подводами стали попадаться и бегущие пехотинцы, которых становилось все больше и больше. Напрасно офицеры пытались остановить эту волну. Неожиданно раздался револьверный выстрел, и один солдат, словно подкошенный, повалился в придорожный кювет.

Вдруг неровный строй подвод замер: одна из них опрокинулась и загородила дорогу другим. Шум стал еще громче. Однако опрокинувшуюся подводу мигом сбросили в кювет, и гонки продолжались с новым остервенением.

Когда первые подводы поравнялись со мной, я стал кричать, чтобы они забрали меня. Но никто не обратил на меня никакого внимания. Подводы промчались мимо. Неожиданно в голову мне пришла страшная мысль: ведь бешено мчавшиеся подводы запросто могут раздавить меня вместе с носилками!

Через несколько минут на дороге начали рваться первые снаряды: противник обстреливал отступавшие части. На дороге творилось что-то невообразимое. Опять опрокинулась какая-то телега, ехавшая впереди, но ехавшие сзади телеги уже ничто не могло сдержать. Кто мог, ехал дальше. Передо мной тоже остановились подводы. Один из солдат сжалился и взял меня на свою подводу.

— До ближайшего полевого госпиталя? — спросил он.

— Госпиталя здесь нет. Эвакуировался.

— Тогда куда же тебя? Я еду в направлении Белграда.

— А мне все равно.

— Учтите, господин кадет, прогулка предстоит не из приятных!

Дальше можно было не объяснять: подвода, на которую я кое-как залез, была нагружена поврежденным в боях оружием, которое тряслось подо мной, не предвещая ничего хорошего. Я спросил у возницы, нет ли у него какого-нибудь одеяла, чтобы я мог постелить его под себя. Он покачал головой и бросил мне грязный мешок.

— Вы куда едете? — спросил я.

Солдат смерил меня любопытным взглядом, словно раздумывая, сказать мне правду или нет. Немного подумав, он чуть слышно выдохнул:

— Домой!

Стоило мне услышать это милое сердцу слово, как по всему телу пробежала горячая волна.

Где-то сзади ухали пушки. Сербы уже пристрелялись и били точно по дороге. Оружие тряслось подо мной, причиняя боль; хотелось кричать, но я сдерживался,

утешая себя мыслью, что с каждой минутой все дальше и дальше удаляюсь от передовой.

До Белграда мы ехали суток шесть. Рана моя начала гноиться. Временами меня сильно лихорадило.

Как только мы въехали в город, нас задержал патруль полевой жандармерии, вылавливающий дезертиров и собирающий раненых. Меня отвезли в ближайший полевой госпиталь.

ВСТРЕЧА

Спать, спать! День, два, неделю! Во мне жила только эта мысль. Желание спать заглушило даже боль от раны. За те несколько казавшихся бесконечными дней, которые я провел в центральном военном госпитале в Белграде, выяснилось, что рана моя на ноге сильно запущена. После осмотра хирург коротко и решительно сказал:

— Ампутировать!

Сквозь полузабытье, в котором я тогда находился, это слово вонзилось в меня, как штык, и я сквозь зубы процедил: «Милан, и это твоя благодарность? Ты все же решил заколоть меня штыком?» Когда я пришел в себя и увидел возле своей кровати двух военных врачей, то громко рассмеялся, как человек, который перехитрил смерть, а теперь собирается перехитрить этих врачей. Нога? Что такое нога? Ведь я остался в живых! Я услышал, как один из врачей тихо заметил:

— Пока еще терпимо.

Оба врача ушли, а мне захотелось еще сильнее захотать им вслед: «Видите, все-таки она осталась!»

Несмотря на сильную усталость, я никак не мог уснуть. Неподвижным взглядом смотрел на потолок, на лампочку. В мозгу засела нелепая мысль: «Лампочка, свет! Это сделал человек. Цивилизация! А разве она существует? Разве существует что-нибудь, кроме вшей и разлагающихся трупов?» Я окинул комнату взглядом. Четыре белые стены. Потолок и электрическая лампочка. За несколько долгих месяцев, проведенных в окопе, я забыл, что где-то существуют настоящие дома вот с такими потолками и электричеством. Я ощупал постель, на которой лежал. Кровать. Хрустящие белоснежные простыни. Под головой — подушка. Все вокруг меня

искрилось и сверкало чистотой. И вдруг мне показалось, что я только сейчас, после встречи со смертью, познакомился с жизнью. После того, что я видел в окопе, все казалось таким великолепным и чудесным.

Сейчас, когда ад остался позади, все вокруг меня пело и ликовало, и меня вновь охватила злость. Перед глазами замелькали оторванные руки, ноги, головы, и в исступлении я начал колотить кулаками по подушке. Видимо, я даже кричал, так как в коридоре послышались возгласы, зовущие врача или сестру. «Кто? В какой палате?» Чей-то голос громко ответил: «В тридцать второй!»

Я видел, как дверь в палату отворилась и в щель просунулась голова сестры. Она обвела изучающим взглядом кровати. Перед глазами у меня расстился туман. Сквозь него я все же видел, как два больших удивленных глаза на красивом женском лице вдруг замерли на мне и тут же ожили, наполнившись радостью. В них вспыхнула радость, а сквозь полуоткрытые губы сестры вырвался крик, который, казалось, шел из самой глубины души. Лицо сестры покрылось багровыми пятнами. Я уставился на ее большие черные глаза и все смотрел, смотрел на них, а они, казалось, шептали мне: «Это же Шарика...»

Дверь в палату распахнулась, и на пороге появилась незнакомая стройная девушка в белом халатике. Казалось, на землю сошел ангел.

Девушка медленно подошла ко мне. Глаза ее светились радостью. Жестом она запретила мне говорить.

С моих губ сорвалось лишь одно слово: «Шарика!»

Я попробовал было приподняться на кровати, но не смог. Неподвижно лежал и смотрел на прекрасное видение. Наверное, это сон, бред... Сестра подошла к моей кровати, наклонилась и, проведя своими мягкими руками по щекам, дрожащими губами поцеловала в губы.

Улыбаясь, сестра тихо, словно боясь нарушить очарование, сказала:

— Ну вот, мы и встретились!

Говорить я не мог и только смотрел в глаза и пунцовое от смущения лицо девушки. Потрогал ее лицо, словно желая убедиться, что это не сон. Медленно приподнял голову, и мы снова поцеловались.

Не помню, сколько минут прошло, пока я с трудом выговорил:

— Шарика, ты здесь? Как ты сюда попала?

— Получила твое письмо, в котором ты писал о своем ранении. Я знала, что ты на этом фронте. Вот и приехала. Разыскивала ваш полевой госпиталь, но мне сказали, что его эвакуировали в Белград. Мне хотелось лететь к тебе на крыльях! А курсы медсестер я окончила еще раньше.

— А университет? А курсы преподавателей? Ведь ты же хотела стать учительницей?

— В университет меня так и не приняли. Окончила курсы медицинских сестер. Все думала о тебе: а вдруг тебя ранят? И пошла добровольно сестрой. А вот твое письмо... Три дня как я здесь. Я с тревогой ждала каждой новой партии раненых, выбегала встречать...

— Я приехал на подводе. Как только приехал в Белград, хотел первым попавшимся поездом уехать к тебе, но меня задержали жандармы и привезли в этот госпиталь. Как хорошо, что я сюда попал!

— Теперь мы вместе! Это самое главное...

Шарика взяла мои руки в свои. Мы долго молчали.

Потом я спросил девушку, не встречала ли она Тичку, Тому и Каллу.

— Бедняга Тичка тяжело болен. Легкие... Но он все еще ходит, агитирует против войны. Два раза его арестовывали. Альфреда Вейса забрали в армию, и больше я о нем ничего не слышала. Каллу тоже мобилизовали. Он служит на флоте. Тома по-прежнему работает на заводе.

Вопросы следовали один за другим. Я рассказал Шарике о фронте, о Цегледи, Шаркези, Милане. Она — о своих переживаниях.

— Ну, как там дома? Народ не бунтует?— спросил я.

Шарика покраснела и, наклонившись к моему уху, прошептала:

— Я вместе с Тичкой и Томой распространяла анти-милитаристские листовки. Товарищи помогали мне, как могли, подбадривали.

Улыбнувшись, она посмотрела мне в глаза, желая понять, одобряю я ее действия или нет. Потом чуть слышно, с мольбой в голосе спросила:

— Правда, мы больше никогда не расстанемся?

— Никогда!

Из коридора слышались крики и шум.

— Наверное, новых раненых привезли, — проговорила Шарика и встала. — Принять их нужно. Сестер не хватает. Три дня подряд я встречала тебя, но напрасно. Ухаживала за ранеными, а сама думала о тебе. Ну, пойду, а то меня, наверное, уже ищут.

В коридоре действительно чей-то мужской голос выкрикивал имя Шарика.

Услышав этот голос, Шарика сразу как-то изменилась.

— Шарика! Шарика! Раненые прибыли!

Этот голос молотом бил меня по голове.

Неожиданно в двери показалась фигура старшего лейтенанта в гусарской форме, с перевязанной рукой. Это был Кохари.

Мы все трое так и замерли.

Шарика сильно побледнела. В глазах застыл ужас. Губы дрожали, будто она хотела что-то сказать мне, но не успела.

Я накрепко все свои силы, чтобы думать о чем-нибудь другом. В голову неожиданно врезались слова врача, что придется ампутировать ногу. Мне не хотелось, чтобы Кохари узнал меня, и поэтому, отведя от него взгляд, я стал смотреть на свою раненую ногу. Потом взглянул на Шарика, которая не сводила с меня грустного взгляда. Дрожащие губы девушки, казалось, говорили, что в первые минуты нашей встречи она не успела сказать мне, что Кохари здесь, в госпитале.

Я невольно еще раз взглянул на Кохари. Беспокойный взгляд его перебегал с Шарика на меня и обратно. На меня он смотрел с ненавистью, но я выдержал этот взгляд. Тогда Кохари отвернулся и с нежностью посмотрел на девушку. Я сразу понял, что она ему небезразлична.

— Ну вот... ну вот... — после долгой, томительной паузы начал, заикаясь, Кохари и засмеялся.

Здоровой рукой он достал из кармана серебряный портсигар, раскрыл его и ловким движением сунул сигарету в рот. Вытащив зажигалку, прикурил и только потом с насмешкой добавил:

— Господин кадет!

Щелкнув шпорами, он повернулся и пошел к выходу, но, не дойдя до двери, остановился.

— В следующий раз, господин кадет, попрошу вас докладывать, когда в палату входит офицер! И запомните: мы еще встретимся! — Он хлопнул дверью и пошел по коридору, звеня шпорами.

Наступила тишина, тяжелая, гнетущая. Я лежал не шевелясь. Шарика стояла у моей кровати. Так продолжалось несколько минут. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь нарушил эту тишину, разорвал ее: грохот орудий, взрывы или еще что-нибудь.

Не глядя на Шарику, я спросил ее:

— Ты и за ним ухаживала?

Шарика вздрогнула от моих слов и посмотрела мне в глаза. По выражению ее глаз я понял, что она хотела мне сказать: «Зачем ты спрашиваешь меня об этом? Разве ты не веришь мне? Если нет, то конец... Конец всему!»

— Я ухаживала за всеми ранеными, — глухим голосом ответила она. — Ведь я тоже приносила присягу... — И, повернувшись, хотела уйти.

Я схватил ее за руку и притянул к себе.

— Да, конечно, это твой долг, — после паузы, с трудом выговорил я. — Ты должна, обязана помогать всем раненым... — У меня перехватило дыхание, и я замолчал.

Я еще крепче прижал девушку к себе, гладил ее волосы, лицо, целовал...



ЗАГОВОРИЛИ *люди*





ОГНИ

Меня положили на операционный стол. Наложили эфирную маску. Пока я не заснул, видел, как вокруг суетились врачи и сестры в белоснежных халатах. Мое лихорадочное воображение вложило в руку каждому из них по острому ножу.

— Считайте до скольких можете! — донесся до меня откуда-то издалека голос одного из врачей.

Я начал считать вслух:

— Один... два... три... четыре...

В голове у меня зажуужало, будто вокруг летал большой рой пчел. Сквозь это назойливое жужжание временами пробивались несвязные обрывки мыслей, которые тут же пропадали, словно проваливались в пропасть. «Что это? Почему у меня такой треск в голове? Где я? — пытался я осмыслить происходящее. — Ага, вспомнил: я в Пеште... на улице Ревес... в военном госпитале. В палату вошел профессор Хорват и сказал, что ногу необходимо ампутировать... Но как я попал сюда?.. Белград... Уход Шарики... Почему она ушла? Боже мой, почему она ушла от меня? После ухода Кохари она сидела передо мной такая печальная и все время молчала. Потом встала и вышла. Я искал ее, но так и не нашел... Из госпиталя я сбежал. Чуть ли не на четвереньках дополз до железнодорожной станции и сел на поезд, следовавший в Будапешт... Я ехал туда с желанием разыскать Шарику... разыскать во что бы то ни

стало. Поезд, тяжело отдуваясь, медленно карабкался по склонам гор...»

— Тридцать восемь... тридцать девять... — продолжал считать я.

Я механически продолжал считать вслух, но вдруг запнулся и остановился. Шум в голове постепенно стихал, уходил куда-то все дальше и дальше, пока совсем не пропал. Позже мне рассказали, что, когда я перестал считать, меня начали оперировать. Оперировавший врач как раз перерезал вену, когда я вдруг с силой раскинул руки и ноги, оттолкнув врачей и сестер. Тогда меня привязали к столу ремнями и еще раз наложили на лицо эфирную маску, и после этого я уже ничего не помнил. Очнулся уже в палате и сразу же ощутил тяжесть гипса на раненой ноге.

Когда я окончательно пришел в себя, то мог уже разбирать, что делается вокруг. Вспомнил, что в операционной справа и слева от меня стояли столы, на которых врачи делали операции другим раненым.

Сквозь густую завесу тумана, которая временами заволакивала мне глаза, я видел кровати, кровати с ранеными, у которых не было или ноги, или руки. Тогда я невольно начинал считать вслух, будто вновь лежал на операционном столе:

— Один... два... три... четыре...

Досчитал до пятидесяти шести: в огромной палате лежало пятьдесят шесть человек. Потом снова впал в полузабытье и шептал:

— Шарика! Где ты, Шарика?

Меня оглушил какой-то дикий вопль. Казалось, выл смертельно раненный волк. Что бы это могло быть? Как выяснилось, в конце нашей палаты была маленькая дверь, ведущая в совсем маленькую комнатку, куда помещали больных столбняком. Противостолбнячной сыворотки тогда еще не было, и потому эти несчастные, которым никто не мог помочь, обрекались на страшные мучения. Три—четыре дня они беспрестанно кричали, пока смерть не уводила их с собой. На место умерших приносили новых. Такого нечеловеческого воя я еще никогда не слышал. Раненые нашей палаты не раз требовали от администрации госпиталя, чтобы больных столбняком перевели в другое место, но все наши просьбы оставались без ответа. Из «камеры смерти», как мы

называли палату столбнячных, постоянно неся такой вой, что наши нервы не выдерживали. Однажды все мы, пятьдесят шесть человек, дошли до такого состояния, что закричали в одно горло. Начали бросать в дверь, ведущую в «камеру смерти», подушки, бить в стену кулаками и костылями.

— Уберите от нас эту «камеру смерти»!

— Мы с ума здесь сходим!

На крик прибежали несколько медсестер, и в них в ту же секунду полетели подушки, стаканы, тарелки, костыли. В испуге они скрылись, но через несколько минут их появилось вдвое больше. Но и на этот раз мы встретили их диким криком. Все, словно один человек, кричали:

— Довольно! Хватит! Пусть нас лучше выписывают! По домам хотим!

Началось что-то неопишное. Один плакал, другой кричал, третий звал жену и детей, четвертый бил костылем по чему попало, и все вместе орали:

— Домой!.. Домой!..

Те, кто мог стать на ноги, двинулись к двери, отбиваясь от сестер, которые пытались уложить их в постель.

Не выдержав нашей атаки, они выбежали в коридор и, заперев дверь палаты на ключ, забаррикадировали ее столами и стульями.

Через некоторое время в коридоре появились вооруженные солдаты, охранявшие госпиталь, но и они предпочли не входить в палату и стали ждать, пока наше неистовство несколько уляжется.

Когда мы успокоились, больных столбняком перевели в другое место.

Наркоз перестал действовать. В голове у меня все еще звенело. Мне казалось, что я брожу где-то далеко-далеко, по незнакомой мне местности, и ищу Шарику.

Постепенно я пришел в полное сознание, и в памяти воссоздалась картина событий недавнего прошлого.

Я действительно сбежал из белградского госпиталя и почти на четвереньках дополз до вокзала, где с грехом пополам попал в поезд, отправляющийся в Пешт. Прополз на четвереньках через весь вагон, отыскивая себе место. Но все купе были заняты. В крайнем купе сидели

офицеры. Они играли в карты и громко смеялись. Водном из них я узнал Гёргени. «Дезертировал с фронта!» — мелькнуло у меня в голове. Меня охватило такое бешенство, что я, забыв о чинах, набросился на него:

— Мать твою!.. Ты здесь в карты дуешься, а твои солдаты в окопахдохнут!

Гёргени смутился, что окончательно убедило меня в том, что он действительно позорно дезертировал с фронта.

— Я упал со скалы и разбился, — неловко начал оправдываться Гёргени.

Я отвернулся от него и пополз дальше. Наконец в одном из купе я нашел только одного пассажира. Он с усталым видом лежал на полке.

— Можно? — спросил я его.

— Пожалуйста! — ответил он мне по-немецки, встал и помог расположиться на соседнем сиденье.

— Я с удовольствием дам вам свою шубу, чтобы вы могли накрыться, но имейте в виду — в ней миллион вшей.

— В моей рубашке их по крайней мере миллиона три, — смеясь, ответил я.

Это был австрийский старший лейтенант, с которым я очень быстро сдружился. Ни он, ни я по приезде в Пешт не хотели попасть в руки госпитальных эскулапов. Нам во что бы то ни стало хотелось сразу же уехать домой. Как только наш поезд пришел на Пештский вокзал, я пересел в поезд, идущий в Надькату, чтобы поскорее обнять отца. Австрияк же сел в состав, идущий в Вену.

В Надькате меня встретили родители. Как только мать увидела меня, ей стало плохо. Я прижал ее к себе и крепко поцеловал. Она долго молча смотрела на меня, потом разрыдалась. Через минуту к нам подошел отец. Он обнял меня и, поддерживая, повел домой.

Когда мы шли по селу, навстречу нам из домов выбегали односельчане, которые наперебой спрашивали у меня, не знаю ли я, что стало с их родственниками. После моего отъезда из деревни в армию забрали даже пожилых мужчин; более того, на многих из односельчан уже пришли похоронные. Балаж Тако, Янош Борознаки, Лёрпиц Витек и другие были убиты. Через несколько минут вокруг меня собралась большая толпа односельчан: кто лез ко мне с расспросами, кто, вытирая глаза

передником или просто кулаком, плакал навзрыд, проклиная сельского судью, нотариуса и всех, кого можно было обвинить в том, что они угнали на фронт их мужей и сыновей. Кто-то начал рассказывать, что в Алмаше и Коке, расположенных по соседству с нами, народ выгнал нотариуса, а в Моношторе крестьяне сожгли барскую усадьбу...

Я с нетерпением ждал момента, когда смогу пойти к родителям Шарики. Их я отыскал в лавке. Когда спросил, где их дочь, мать Шарики с тревогой в голосе ответила, что дочка давно им не пишет, а отец отвернулся и недовольным, почти враждебным тоном заметил, что им о ней ничего неизвестно. И, словно желая показать мне, что они хотят, чтобы я оставил их дочь в покое, добавил:

— Ей нужно учиться.

Тетушка Каролина тоже приняла меня очень холодно. На мой вопрос о Шарике она отвернулась и недовольно бросила:

— Не знаю я ничего!

Мне показалось, что ей не нравятся мои розыски Шарики.

— В какое общество вы ее затянули? — неожиданно повернувшись ко мне, со злостью спросила она.

Я невольно вспомнил кружок Галилея. «Так вот, оказывается, почему они так меня встретили!» — мелькнуло у меня в голове.

— Забросила учебу! — продолжала она. — И как только у людей хватает совести сбивать других с пути, портить им жизнь, карьеру, да и нас ставить под подозрение. Мы хотим жить спокойно. Если бы не ваш дурацкий кружок, ее и в университет наверняка приняли бы. А теперь, видите ли, у нее ни к чему нет желания. И от семьи отбилась. Вместо того чтобы учиться, разъезжает бог знает где. Завела знакомства с подозрительными людьми, которых разыскивает полиция.

Тетушка Каролина подошла ко мне ближе и набросилась:

— Это вы сбили ее с правильного пути! — И, не дождавись моего ответа, помчалась в другую комнату, обронив по пути:

— Вы крестьянин и можете делать все что хотите, можете бунтовать, а мы из благородной семьи!

Лицо мое горело от гнева. Значит, и здесь меня считают всего-навсего серым крестьянином!

Я тотчас же покинул дом адвоката Брауна и решил ехать в Пешт, надеясь разыскать Шарику там. Может быть, о ней что-нибудь знает Тома?

Однако едва я успел сойти с поезда на Восточном вокзале, как ко мне подошел комендантский патруль и, проверив документы, задержал. Меня вместе с другими «беженцами»-ранеными отправили в госпиталь на улице Ревес.

На улицах творилось что-то непонятное, и наша повозка с трудом пробиралась сквозь толпу. Шел 1917 год.

Люди, в поношенной одежде, с худыми лицами, жадными глазами оглядывали витрины магазинов, в которых уже давно ничего не было. Перед булочными и мясными лавками стояли длинные очереди голодных людей, которым никто ничего не хотел давать. Тогда они начинали колотить чем попало в закрытые жалюзи двери и окна магазинов.

Многие ходили в трауре: пожилые женщины — в черных платьях, с черными платками на головах; мужчины — с траурными повязками на рукавах. Среди прохожих попадалось много инвалидов, у некоторых сбоку болтался пустой рукав, у других не было ноги. Некоторые инвалиды просили подаяние. Разряженные дамы, проходя мимо них, старались не задеть за их обмундирование. В глазах у инвалидов светились огоньки неприязни и злости. А те, что были посмелее, ядовито замечали: «Отойдите в сторонку, милостивая госпожа, а то еще запачкаетесь!» Дама, точно ужаленная, отскакивала с тротуара и, обернувшись, пренебрежительно бросала калеке: «Негодяй!» Солдат замахивался на оскорбительницу костылем, и она тотчас же скрывалась в толпе. К калек подходил полицейский и предупреждал, чтобы тот вел себя прилично. Двое инвалидов не выдержали и с угрозами набросились на полицейского.

— Пошел дальше! А то и тебе попадет!

В толпе то тут, то там можно было видеть полицейского или жандарма. В глазах хорошо одетых прохожих — тревога. Стоило мальчишкам-газетчикам начать выкрикивать, что в России вспыхнула революция, как окна господских домов стали с шумом захлопываться.

— Революция в Петрограде! Сформировано правительство рабочих и солдатских депутатов!

— Волна забастовок по всей Европе! Народы требуют мира, хлеба и свободы!

Прохожие с жадностью набрасывались на газеты. Мимо меня пробежал разносчик газет, потрясая свежими номерами «Непсавы».

— На двадцать пятое назначен митинг! Жители Будапешта поддерживают русскую революцию! Полиция запретила демонстрантам пройти по проспекту Андраши!

В голове у меня от всего увиденного и услышанного творилось бог знает что.

Мне снова предложили оперироваться, но я не соглашался.

— Вы что, бунтовать вздумали? — расшумелся профессор Хорват, который неудачно провел первую операцию.

Но я не обращал на его крик никакого внимания, так как имел полное право отказаться от второй операции.

На следующий день меня вызвали к начальнику госпиталя профессору Доллингеру. В кабинет начальника госпиталя я вошел вместе с каким-то добровольцем, который, увидев профессора, шепнул мне:

— Посмотри-ка, генеральская форма на нем сидит, словно на корове седло!

Дежурный врач доложил о нас Доллингеру. Когда очередь дошла до меня, профессор, покосившись на мой костыль, на который я опирался, закричал, чтобы я выпрямил ногу. Видимо, он думал, что я симулянт и, повинувшись его начальническому окрику, тотчас же встану на обе ноги. Но я не мог этого сделать. Тогда Доллингер разгорячился и приказал мне идти на повторную операцию, на что я ответил решительным отказом. Доллингер покраснел как рак, а офицеры, стоявшие в кабинете, как по команде повернули головы в мою сторону.

— Я посажу вас в тюрьму! — гремел Доллингер. — А пока даю вам двадцать суток гауптвахты!

Меня действительно посадили в камеру, помещенную в подвале госпиталя, полагая, что за двадцать

дней я утихомирюсь и соглашусь на операцию. Доллингер был озабочен тем, что число неудачных операций, проводимых в госпитале, все время росло, а ведь он как-никак носил генеральские погоны и звание профессора хирургии. Своим генеральским званием он не только гордился, но и всячески пытался поднять свой авторитет. Встав из-за стола, генерал направился к двери, но дежурный врач что-то шепнул ему на ухо. Доллингер неожиданно остановился и приказал допросить меня, а потом еще раз доложить ему.

На следующем докладе я застал в кабинете начальника госпиталя еще двух офицеров, одним из которых был тот самый врач, который шептал ему что-то.

Окинув меня подозрительным взглядом, Доллингер обратился ко мне:

— Чем вы занимались до армии? И почему так беспардонно отказываетесь выполнить мой приказ?

— Заведовал юридическим отделом в газете «Непсава».

Доллингер и оба офицера пришли в замешательство. Оказалось, что генерал терпеть не может прессу и боится ее.

— Значит, все, что мне о вас докладывали, правда? Вы социалист, да еще и бунтовщик! — нервно заговорил генерал.

Я сразу догадался, о чем шептал профессору дежурный врач.

— Пользуясь данными мне правами, я разжалую вас и сейчас же под конвоем направлю на гауптвахту, а оттуда под стражей — в гарнизонный госпиталь. Там научитесь дисциплине! — вынес свой приговор генерал.

Известие о разжаловании не расстроило меня: я и без того ненавидел свое кадетское звание. Как только меня привели в камеру, я сразу же написал письмо в редакцию «Непсавы» и статью для газеты, в которой рассказал о господствующих в госпитале порядках. И то и другое мне удалось переправить в редакцию, пользуясь услугами одного доброго человека. Отсидеть двадцать суток на гауптвахте мне не пришлось, так как через несколько дней появилась моя статья в «Непсаве», и Доллингер спешно отправил меня в гарнизонный госпиталь. О начальнике его ходили самые невероятные слухи.

Мне посчастливилось лично познакомиться с начальником этого госпиталя. Знавшие его люди за внешний вид и характер довольно метко прозвали Диким кабаном.

— А-а, так это вы и есть бунтующий социалист! Вас нужно было направить не ко мне, а на виселицу! — ничего не спрашивая, набросился он на меня.

Однако мне все же удалось вырваться из этого ада, и довольно оригинальным образом. Вместе с лечащим врачом, капитаном запаса, который в душе ненавидел войну, я составил план «смягчения» Дикого кабана. Капитан начал объяснять начальнику госпиталя, что в военном госпитале по улице Ревес действительно беспорядки и что потому я не без основания отказался от второй операции. Да и начальник госпиталя там гражданский, которому взяли да и присвоили генеральское звание. Дикий кабан, который засиделся в полковниках и потому был зол на всех, клюнул на эту удочку и, прочитав сопроводительное письмо Доллингера (тот просил как можно строже отнестись ко мне), возмутился, что какой-то Доллингер указывает, как ему поступать.

На следующий день во время очередного обхода полковник, правда, все же накричал на меня, но скорее для того, чтобы не показать вида, что он собирается поступить по собственному усмотрению. В госпитале я пробыл недолго. Оперировать меня не стали, а просто признали инвалидом и выписали с заключением демобилизовать из армии.

Выйдя из госпиталя, я отправился на поиски Томи, чтобы через него узнать что-нибудь о Шарике.

Выйдя на улицу, я сразу же попал в людской поток. Над огромной толпой на ветру полоскались знамена. На лицах собравшихся было выражение безграничной радости и веры во что-то светлое. Группы полицейских пытались остановить это торжественное шествие, но толпа оттеснила их.

— Да здравствует русская революция! — ревели тысячеголосая толпа.

— Мира, прав, хлеб!

Вся эта огромная масса людей текла по направлению к городскому парку. Я шел туда, куда шли все.

Вокруг выставочного зала уже толпились люди. В зале энергичный оратор громко говорил:

— Мы собрались здесь, чтобы сказать свое решительное «нет» войне. Довольно убивать людей! Миллионам простых людей нужен мир! Мы собрались здесь, чтобы сказать нашим русским братьям, что мы с ними душой и сердцем! Русская революция воодушевляет нас, и мы горячо приветствуем наших русских братьев!

Народ Венгрии приветствует Октябрьскую социалистическую революцию!

Я НАХОЖУ ШАРИКУ

Тома с женой жили неподалеку от улицы Мурани в маленькой квартирке, состоявшей из комнаты и кухни. Кальман уже давно не работал: его выгнали за ведение антивоенной пропаганды и даже арестовали сначала, но вскоре выпустили.

Его дома не было. Дверь открыла Катика. Увидев меня, она и удивилась, и обрадовалась.

— Давненько же мы не виделись, — начал я, поздоровавшись. — Война всех нас разбросала.

— Кто погиб, кого судьба сломала, — перебила меня Катика недовольным тоном и, помедлив, добавила: — И Шарику вот тоже...

— Где она? — нетерпеливо спросил я. — Я ее разыскиваю. Искал здесь, искал в Ясвароше, но нигде никаких следов.

Катика посмотрела на меня изучающим взглядом и с неохотой ответила:

— Не знаю, где она может быть. Одно время была у нас, а потом ушла.

— Ушла? Куда?

— Сначала она жила у нас, — заговорила Катика после паузы. — Приехала из Белграда и сразу же разыскала нас. Выглядела очень плохо. Спросила, может ли остановиться у нас на несколько дней. «Разумеется, — ответила я. — Живи сколько хочешь». Мы бы ее в любом случае никуда не отпустили в таком состоянии. Я сразу поняла, что с ней что-то случилось, но расспрашивать не стала. Думаю, подожду, пока она сама все не расскажет. Несколько дней она ничего не говорила. Сидит, смотрит отсутствующим взглядом куда-

то в пространство и все время молчит. Тогда я еще не знала о вашей встрече в Белграде. Как-то я спросила ее, уж не поругалась ли она с домашними. Шарика еще раньше говорила: «Родственники частенько ругают меня за то, что я бываю у вас», а они о нас отзывались не ахти как лестно. Ее родители узнали, что она была на митинге на улице Алкотмань, а позже распространяла нелегальные листовки. Дядюшка Шарики, адвокат, не раз упрекал девушку за это и говорил: «Связавшись с рабочими, ты бросаешь темное пятно на всю семью». А тетюшка ее однажды приехала в Пешт и начала упрекать ее за то, что она стала сестрой милосердия. Во всем этом они обвиняли прежде всего ее. «Пора тебе расстаться с этими смутьянами!» — решительно потребовала от Шарики тетка. Прежде всего она настаивала на том, чтобы Шарика порвала с тобой, а когда девушку арестовали вместе с нами и посадили в тюрьму, ее тетка с дядей заявили, что отныне и знать ее не хотят. Родителям Шарики никто даже не посмел сказать, куда попала их дочь.

— Шарика сидела в тюрьме? За что?

— За распространение листовок. Ее схватили вместе с нами. Для нас это не было неожиданностью. Кальман довольно часто брал меня с собой. Мы только боялись за Шарика, но она так загорелась, что, можно сказать, сама тащила нас то на собрание, то на митинг, то еще куда-нибудь. Нередко она рассказывала нам о кружке Галилея, о демонстрации протеста, во время которой чуть было не умерла со страху. Собственно говоря, после той демонстрации она и решила идти с тобой одним путем. Она очень любила бывать в тех местах, где вы когда-то гуляли вместе. О вашей встрече в Белграде она упомянула как-то, но потом к этой теме никогда не возвращалась. Однако мы и без того понимали, что ее тревожит. После ареста Шарика переменялась, стала очень молчаливой. Мы прямо диву давались, а она сказала, что если бы ты узнал, за что ее посадили, то не только не стал бы ругать, а даже похвалил бы. И шепнула мне, что все это она делает ради тебя.

Я внимательно слушал Катику, и сердце мое наполнилось радостью.

— Понял ли ты теперь, что наделал? — почти сердито спросила Катика.

Я не знал, что ей ответить.

— Все это изменило ее, — продолжала Катика, — хотя она и не жаловалась. Просила нас никогда не рассказывать тебе, где она бывала, чем занималась. Когда нас выпустили из тюрьмы, она стала какой-то замкнутой, ушла в себя. А когда рассказывала мне, что произошло в госпитале, плакала: «Теперь всему конец! Потеряла я его!» Много училась, много читала. Часто навещала Тичку и Альфреда и к ним приставала с расспросами что да как. — Неожиданно Катика замолчала, потом добавила: — Понимаешь ли ты теперь, кого ты обидел?

— А где она сейчас? — не унимался я.

Едва я успел закрыть рот, как дверь в комнату открылась и на пороге появилась Шарика.

Не замечая меня, она обратилась к Катике:

— Кальмана снова схватили полицейские...

И тут же замолчала, увидев меня, побледнела. На какой-то миг в глазах ее промелькнула радость, но лишь на миг, и вновь ее глаза подернулись печалью. Девушка пошатнулась. Катика обняла ее и усадила на стул.

Несколько секунд я стоял и не шевелился. Наконец взял себя в руки и подошел к девушке:

— Шарика!

Неожиданно она встала и неровными шагами пошла к двери.

Я догнал ее, обнял.

— Шарика!

Она слегка отстранилась от меня. Лицо ее порозовело. Тихо, чуть слышно, спросила:

— Приехал?

Освободившись от моих объятий, Шарика подошла к Катике и взяла ее за руки, словно боялась, что без нее может упасть.

— Приехал и разыскиваю тебя, — с трудом выговорил я.

Взгляд Шарика посветлел.

— Нужно немедленно разыскать Кальмана. Куда его забрали? — обратилась она к Катике.

Я взял Шарiku за руку.

Через несколько минут мы втроем отправились на розыски Кальмана.

ПЕРВЫЙ ПРОРЫВ

Разделившись на небольшие группы (по несколько человек в каждой) и держась на приличном расстоянии друг от друга, мы направлялись к зданию центральной телефонной станции, которая находилась на улице Барош. Некоторые что-то пели себе под нос, другие притворялись пьяными. Впереди всех шел Бела Санто в форме старшего лейтенанта. Сразу же после полуночи к кафе на площади Барош подъехала большая автомашина с группой участников вооруженной демонстрации. Все шумели, спорили о том, стоит ли ехать в казармы на улице Юллей. В машине было полно солдат и гражданских. Они сразу же спрыгнули на землю и, узнав обстановку, тотчас же согласились идти вместе с Санто на телефонную станцию. Переговорив с Санто, я тоже присоединился к его группе. В ту ночь меня ждала большая радость: я совершенно случайно встретился с Цегледи, который, как я узнал позже, отказался ехать на фронт и на Восточном вокзале возглавил группу солдат.

Мы подошли к телефонной станции. Перед зданием взад и вперед расхаживал часовой. У нас была договоренность: как только часовой приблизится к нам, Бела Санто попросит у него прикурить и тем самым отвлечет его внимание. Однако оказалось, что часовым было строго-настрого приказано не разрешать проходить по той стороне улицы, где находилось здание станции. Завидев нас еще издали, часовой крикнул, чтобы мы перешли на другую сторону улицы. Бела подошел к часовому ближе. Разглядев звездочки старшего лейтенанта, часовой смутился. Бела попросил у него прикурить. Часовой еще больше смутился, не зная, что делать: нарушить инструкцию и дать старшему лейтенанту прикурить или же не давать. Повесив винтовку на плечо, часовой полез в карман за спичками.

Мы тем временем быстро шли вперед.

— Ты хоть знаешь, служака, что война кончилась? — спросил Бела часового. — Слышал, что солдаты отказались ехать на фронт? Решили разъехаться по домам. Намучились за четыре года войны. А ты разве не хочешь поехать домой?

В этот момент часовой чиркнул спичкой. Тусклый огонек осветил худощавое лицо солдата, глаза которого загорелись радостью и надеждой.

— Я только что из комендатуры города, — продолжал Бела, не давая солдату опомниться. — Там тоже все решили разойтись по домам.

Со стороны Большого кольца слышались одиночные выстрелы. Солдат, не зная, что ему делать, с трудом выдал:

— Сегодня весь вечер стреляют. А нам приказали нести службу еще бдительнее.

— Я же говорю тебе — войне конец. Бросай все и пошли с нами!

В этот миг подошедший к ним Цегледи одной рукой схватил у часового винтовку, а другой зажал ему рот и прошептал:

— Тс-с! Ни звука, браток. Или ты сегодня же, хоть сейчас отправишься домой, или на тот свет!

Оказавшись без оружия, солдат быстро сообразил, что возвращаться в таком виде в караул ему нет никакого смысла: отдадут под военный трибунал — и быстро согласился:

— Что же, тогда я с вами пойду.

— Вот это совсем другой разговор, товарищ! — подбодрил его Санто. — Конечно, с нами! Сейчас мы зайдем на телефонную станцию и объявим всем солдатам, что война кончилась и кто хочет, может вернуться домой.

Часовой, обрадованный тем, что сейчас распустят по домам весь караул, шел уже охотно.

Когда мы подошли к воротам станции, Бела Санто приказал солдату:

— Ты иди вперед и скажи, что мы из комендатуры города.

Вошли в вестибюль. Впереди солдат, за ним Бела Санто, несколько наших солдат и среди них я. Успех всей операции зависел от быстроты и находчивости. Если удастся ввести караул в заблуждение хотя бы на несколько минут, все будет хорошо.

Мы вошли в комнату, в которой размещался караул. Увидев своего товарища, а с ним незнакомого старшего лейтенанта, караульные удивились. А когда солдат крикнул, что война кончилась, в караульном помеще-

нии началось что-то невероятное. Наши ребята мигом подбежали к пирамиде и расхватили стоявшие там винтовки. А в это время по широкой лестнице, ведущей к караульному помещению, бежал капитан, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет, и кричал:

— Караул, в ружье! Тревога! Арестовать их всех!

Когда же капитан увидел, что караул обезоружен, он остолбенел.

— Бросайте оружие, господин капитан! Рекомендую вам сдать здание без кровопролития! — направляя на капитана пистолет, приказал Санто.

До капитана, видимо, только сейчас дошел смысл происшедшего. Он мгновенно повернулся кругом и как угорелый бросился бежать по лестнице вверх, отстреливаясь на ходу. Ни в одного из наших он не попал, зато ранил двух своих караульных. Мы бросились догонять капитана. Некоторые стреляли. Капитана удалось догнать только на третьем этаже. Он орал на все здание:

— Немедленно сообщите в городскую комендатуру! Телефонная станция захвачена вооруженными мятежниками!

Мы быстро разоружили его. Однако кто-то все же успел позвонить в комендатуру и сообщить о происшедшем. Комендант города сразу же выслал вооруженную группу, которую мы вместе с перешедшим на нашу сторону караулом уничтожили. К утру власть в городе была захвачена восставшими, но об этом мы узнали позже.

С телефонной станции мы ушли только тогда, когда для охраны ее прислали преданных нам людей.

Несколько рот солдат, которые должны были ехать на фронт и находились на вокзале, узнав о захвате власти революционно настроенными солдатами, встретили это известие радостными криками «ура» и стрельбой в воздух.

Это был первый прорыв, который, как все мы тогда чувствовали, должен был подорвать основы тысячелетнего ненавистного режима. Цегледи радовался как ребенок, палил в воздух из своей винтовки, посылая проклятия на голову коменданта Будапешта.

— А помнишь, как я хотел разбить эту винтовку? — улыбаясь, спросил он меня. — А вот теперь я и сам вижу, что она мне пригодилась.

Вместе с Цегледи мы разбили дверь в кафе «Барош». Я позвонил оттуда по телефону в редакцию «Непсавы», где уже числился штатным сотрудником, и продиктовал свой первый репортаж:

«Все началось на Восточном вокзале. Большие вокзальные часы показывали ровно семь. Под огромным стеклянным сводом вокзала — неразбериха и давка. Пахнет дымом, выбрасываемым в воздух лениво отдувающимися паровозами, йодом и карболкой от госпитальных составов. По платформам взад и вперед снуют солдаты, разыскивающие свои вагоны.

Перед одним из вагонов выстроилась рота солдат.

— По вагонам! По вагонам! — зычно кричат офицеры, но солдаты не обращают на эти крики никакого внимания и мирно разговаривают друг с другом. Садиться в вагон никто не собирается.

— Ребята, никуда мы не поедем! — раздается вдруг чей-то громкий голос. Все поворачиваются в сторону кричащего. К нему тут же бросаются несколько офицеров.

— Довольно с нас! Навоевались! — снова кричит солдат.

Солдаты не спускают с говорящего глаз. Неожиданно один солдат поднимает винтовку и стреляет в воздух. Эхо громогласно повторяет звук выстрела. За первым выстрелом раздается другой.

— Не поедем! — кричит другой солдат.

— Довольно! Мы уже отвоевались!

— Да здравствует русская революция!

Под сводами вокзала снова раздается стрельба.

— Пошли в город!

— Домой! Домой! — выкрикивает кто-то, и тысяча человеческих глоток эхом повторяет:

— Домой! Домой! Кончай воевать!

Солдаты оттесняют в сторону офицеров, которые все еще надеются навести в роте порядок. С одного офицера срывают погоны. Крича и стреляя, солдаты толпой двигаются к выходу. Очутившись на улице, они снова начинают стрелять в воздух.

— Пошли в казармы Марии-Терезии! Нужно разоружить местный гарнизон! — кричит кто-то.

Идут по улице Ракоци. Процессия растет с каждой сотней метров, к ней примыкают прохожие.

— Долой войну! — то и дело кричат люди.

Повсюду, где проходит процессия, жители срывают габсбургские гербы с двуглавым орлом, а с попадающих навстречу офицеров — погоны. Некоторые офицеры сами срывают с себя погоны, не дожидаясь, когда это сделают восставшие.

Процессия все растет и растет и заполняет всю улицу Ракоци. На перекрестке улицы Ракоци с Большим кольцом восставшие сворачивают на Большое кольцо, чтобы ближайшим путем выйти к казармам Марии-Терезии.

Перед огромным домом на проспекте Йожефа толпа вдруг останавливается.

— В этом доме живет генерал Лукачич, комендант Будапешта! — выкрикивает кто-то из толпы. — Давайте зайдем и скажем ему, чтобы он убирался ко всем чертям вместе с Габсбургами!

Мощное «ура» сотрясает воздух. За ним слышится залп из винтовок.

— Помнишь, как этот Лукачич издевался над солдатами на фронте? — спрашивает меня Цегледи и толкает в бок.

Когда шествие подходит к улице Барош, дорогу преграждают две автомашины, стоящие поперек улицы. Из машин бойко выпрыгивают делегаты социал-демократической партии и Национального совета. Несколько делегатов взбираются на крышу машины и пытаются говорить:

— Люди! Что вы делаете? Куда идете? Нельзя поступать опрометчиво! Нужно соблюдать порядок и спокойствие!

А с соседней машины другой оратор надывается:

— Неужели вы хотите идти к казармам Марии-Терезии?.. Это же безумие!

— Точно так!

— Туда и идем!

— Гарнизон перейдет на нашу сторону!

— Прочь с дороги!

Охрипшим от напряжения голосом первый оратор что-то кричит, ссылаясь на руководство социал-демократической партии, на Национальный совет.

— Расходитесь по домам! Не допускайте кровопролития!

Пот льет градом с лица оратора, и он то и дело вытирает его носовым платком.

— Гарнизон поднят по тревоге! Солдаты будут стрелять в вас! — уговаривает он толпу.

— Это откуда вам все известно? Уж не вы ли побеспокоились сообщить туда? — выкрикивает кто-то из толпы.

— Одумайтесь! Поберегите себя! Лукачич приказал стрелять по восставшим! — надрывается стоящий на крыше машины толстый господин.

— И мы их тем же встретим! — отвечают нестройные голоса.

Несколько человек бросаются к машинам, чтобы стащить с них словоохотливых ораторов.

В этот момент навстречу толпе из темноты, освещая восставших фарами, выныривает большая крытая машина. Из кузова вылезают солдаты и член военного совета Бела Санто. Я докладываю ему обстановку...»

Секретарь редакции, выслушав мое сообщение, отнюдь не обрадовался и не похвалил меня.

— О какой революции вы говорите? Руководство партии ничего не знает об этом. Не делайте из газеты посмешище!

— Тогда позовите к телефону Гарам! — решительно потребовал я.

Через несколько секунд в трубке послышался недовольный голос главного редактора:

— Революция? Глупости! Горячая вы голова! — И он положил трубку на рычаг.

Часа в два ночи я добрался до редакции, чтобы лично сообщить об увиденном мной на улицах города.

В кабинете дежурного редактора Белы Ревеса сидели Гарам, Вельтнер и еще несколько журналистов. В комнате сильно накурено.

— Ну что там с твоей революцией, молодой человек?! — насмешливо воскликнул Гарам, увидев меня.

Я коротко рассказал о происшедшем. В комнате сразу стало тихо. Гарам побелел и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Видимо, и до него дошло значе-

ние событий минувшей ночи. Постепенно комната опустела, все разошлись по своим местам.

Когда я спустился в типографию, то узнал, что Гарамии дал указание статью о событиях дня поместить не на первой, а на шестой странице и набрать самым мелким шрифтом, однако он забыл сказать, чтобы с первой страницы сняли шапку «Революция свершилась!»

По озабоченному виду Вельтнера я понял, что он, как и Гарамии, ломал себе голову над тем, как бы поскорее убраться в более спокойное место.

Рядовые сотрудники редакции пристали к Вельтнеру с вопросом: что будет, если генерал Лукачич, оправившись от первого испуга, утром силами столичного гарнизона, который еще не вышел из его подчинения, разобьет восставших и возьмет ключевые позиции в городе в свои руки?

Вельтнер хитро улыбнулся.

— Есть одно-единственное средство, которое может помочь разоружить Лукачича. — Вельтнер тяжело вздохнул. — Немедленно отпечатать и распространить среди рабочих листовки. Но неизвестно, как на это посмотрит руководство партии. Без указаний сверху решиться на такой шаг нельзя.

«Выходит, революция поступила нехорошо, вспыхнула, когда ее совсем не ждали руководители социал-демократической партии. Но уж раз это случилось, пусть рабочие подождут, пока партийное руководство не соберется и не обсудит положение: защищать ли рабочим революцию или ждать, пока Лукачич не разобьет восставших», — подумал я.

— Обо всем нужно доложить Гарамии, — решительно заявил Вельтнер, надеясь, что Гарамии идея распространения листовок придется не по вкусу.

— Хорошо! — сказал я. — Если дело только за этим, то мы разыщем Гарамии. Он, видимо, уехал в Национальный совет.

Вельтнер только недоуменно пожал плечами.

Однако добраться до гостиницы «Астория», где проходили заседания Национального совета, было не так-то просто. Генерал Лукачич начал действовать. Неподалеку от гостиницы находился отряд жандармерии, наряды которого перекрыли все улицы. Но мне все же удалось пробраться в гостиницу.

Когда я вошел в холл, там был страшный беспорядок. В креслах и на стульях спали люди. На коврах валялись окурки. Я обратился к первому попавшемуся человеку и спросил, не знает ли он, где можно найти Гарамы.

— Часа два назад он был здесь. Потом ушел домой спать...

— Домой спать?!

Мне ничего не оставалось, как вернуться в редакцию.

Но там я уже не застал и Вельтнера. Он тоже ушел домой.

Тогда группа сотрудников редакции сама составила и отпечатаала листовки. С какой радостью читали мы первый, еще пахнувший типографской краской экземпляр!

Революция разразилась!

Рабочие! Товарищи!

Притеснения господствующих классов рано или поздно должны были кончиться революционным взрывом.

В среду ночью воинские части, присоединившиеся к Национальному совету, без кровопролития заняли ключевые пункты столицы — почту, телеграф, комендатуру — и принесли присягу на верность Национальному совету.

Рабочие! Товарищи!

Очередь за вами!

Без сомнения, силы контрреволюции попытаются вернуть себе потерянную власть. Вы должны доказать свое единство с революционными солдатами, вашими братьями!

Все на улицу!

Бросайте работу!

Венгерская социал-демократическая партия

Нужно было сделать так, чтобы эти листовки попали в руки рабочих, в первую очередь на крупные заводы и фабрики, причем рано утром. Было необходимо заставить рабочих выйти на площади и улицы с лозунгами: «Руки прочь от революционного народа!» Это должно было послужить серьезным предупреждением для Лукачица.

Я вышел на угол улицы Непсинхаз и Большого кольца, чтобы собрать там побольше людей, которых можно было послать на заводы с листовками.

Шел пятый час ночи. Следовало спешить.

Я останавливал каждого прохожего, особенно рабочих, и просил помочь нам распространить листовки.

Скоро мне удалось собрать человек тридцать. Мы тотчас же вернулись в редакцию, где каждый получил по большой пачке листовок, и, записав адреса заводов, разошлись.

К утру центральные улицы и площади столицы были запружены рабочими, их семьями, ремесленниками и солдатами. Рабочие выкрикивали революционные лозунги, показывая тем самым, что все они стоят на стороне революционных солдат.

Генерал Лукачич не решился приказать стрелять в рабочих.

Так одержала победу буржуазно-демократическая революция, которую проспали дрожащие от страха руководители социал-демократической партии.

На утро, встав со своих кроватей и усевшись в мягкие кресла, социал-демократические лидеры первым делом стали ломать себе голову над тем, как помешать дальнейшему развитию революции и не допустить, чтобы в Венгрии произошло то, что произошло в Советской России.

ВСТРЕЧА С ИНВАЛИДАМИ

На проспекте Фехервари у Института инвалидов в переполненный трамвай сели трое солдат-инвалидов. У одного не было левой ноги, у другого — правой руки, а третий, в черных очках, был, видимо, слепой. Солдаты вели своего слепого товарища. Пассажиры смотрели на солдат с чувством глубокой симпатии и жалости.

— Вот их и наградили! — вздохнула, глядя на солдат, какая-то работница.

— А нам награда — голод и нищета, — подхватила другая раздраженным голосом.

— Теперь все пойдет к лучшему, — насмешливо заметил хорошо одетый господин. — Ведь революция-то свершилась!

Стоявший рядом с господином рабочий смерил его настороженным взглядом.

— Что толку в этой революции! Как надрывались до этого, так и сейчас надрываемся. В Мако стреляли в рабочих: восемь убитых и двадцать раненых. В Тисалобе какой-то старший лейтенант со своими бандитами избивал и вешал крестьян.

— А вам это откуда известно? Вы что, там были? — недовольно спросил господин в очках. По виду его можно было определить, что он не в духе, и, видимо, только из-за того, что ему не досталось сидячего места. Колочими, злыми глазами смотрел он на престолюдинов в оборванной одежде, которые преспокойно сидели и не собирались уступать ему место.

— Конечно, господам и сейчас неплохо, — заметил какой-то рабочий.

— Как безобразничают! — пропищала тоненьким голоском дама, пытаясь локтем отодвинуть от себя работницу.

— А вы, мадам, лучше попридержали бы свой язык! — неожиданно оборвала даму работница.

— А ну-ка, дайте место инвалидам! — закричал рабочий, пытаясь пропустить солдат вперед.

Работница, сидевшая слева от дамы, встала и предложила место солдату без ноги:

— Садитесь, пожалуйста!

Дама поежилась: соседство солдата ей явно не нравилось.

— Вы тоже встаньте! — бросила дама работнице, сидевшей справа от нее.

— А вы что, не видите, она ведь в положении! — обрушилась на даму работница, предложившая солдату сесть. — Встаньте сами, ваша милость! Вы и так всю жизнь ничего не делаете, только отдыхаете!

— Ну и народ! — прошипела дама, вставая.

Двое солдат сели. Третья работница уступила место слепому.

К солдатам протиснулся кондуктор. Солдат, у которого не было ноги, полез в карман за деньгами. Заплатил за три билета и обронил на пол десять филлеров.

— Будьте добры, поднимите монетку, — обратился солдат к кондуктору, — а то я не могу нагнуться из-за ноги.

— Нет, вы только посмотрите на него! — фыркнула дама. — Он еще приказывает! Ну и народец!

— Мы же за вас остались без ног, без рук, без глаз! — не выдержал безногий.

— Бесстыжий крестьянин! — прошипела в ответ дама.

И тут началось невообразимое. Пассажиры набросились на даму.

— Ах ты, подлая! Оскорблять инвалида! Поезжай в экипаже, если тебе плохо в трамвае!

— Выгнать ее из вагона!

— Как вы можете так набрасываться на даму из-за каких-то... — заступился было за даму толстый господин.

Безногий солдат вспыхнул и схватился за костыль, чтобы стукнуть им толстого господина.

— Черт бы тебя побрал!

Но кондуктор вовремя схватил костыль и голосом, не терпящим возражений, проговорил:

— Здесь вам не окоп, господин витязь! В трамвае драться нельзя! Вы привыкли приказывать, вон и мне приказали поднять деньги!

— Ах ты негодяй! Твоя прямая обязанность помогать калекам, а ты? — набросились на кондуктора рабочие.

— Такой поможет! Он небось всю жизнь господам пятки лизал!

— Мерзавец!

Солдат, у которого не было руки, вскочил и левой рукой толкнул кондуктора в грудь.

Кондуктор стал звонить вожатому, чтобы тот остановил трамвай.

— Полиция! Полиция! — закричал кондуктор.

Трамвай остановился.

— Слезайте! — набросился кондуктор на солдат. — Здесь не место затевать драки!

— Им теперь весь мир подавай! — поддержал кондуктора толстый господин, косясь в сторону солдат.

Солдат замахнулся костылем на толстого господина, но тот успел схватиться за костыль и стал вырывать его из рук инвалида.

Я с трудом протиснулся к ним и, положив руку на плечо толстому господину, потребовал:

— Вы негодяй! Выйдите вон!

— Так ему и надо! — поддержали меня пассажиры.

В это время в трамвай уже поднимались двое полицейских.

— Вот и молодчики явились, защитники революции! — съязвил пожилой рабочий, увидев полицейских.

— Пусть убираются отсюда! — потребовал другой рабочий.

Но полицейские все же вошли в вагон. Кондуктор торопливо объяснил им, что случилось, и стал показывать рукой на инвалидов.

— Ваши документы! — потребовал полицейский, обращаясь к одному из инвалидов.

Солдаты полезли за документами.

— Не мы, а они безобразничают, — показывая на кондуктора и толстого господина, оправдывался солдат без ноги.

— А это мы сейчас выясним, — отрезал полицейский. — Прошу выйти из вагона! Во время революции должен быть порядок и спокойствие!

— Революция! Что же это за революция, когда все шишки летят на рабочих и инвалидов? — выкрикнул кто-то из пассажиров.

— Не сойдем! Ничего плохого мы не сделали! — запротестовали два солдата.

Полицейский засвистел. Через несколько минут к трамваю подошли еще два полицейских. Солдат ссадили. Вслед за ними, спотыкаясь, слез и слепой. Пассажиры, не стесняясь, ругали полицейских. Несколько рабочих сошли с трамвая вслед за инвалидами, чтобы поддержать их.

Солдаты все еще спорили с полицейскими. Слепой солдат шел между товарищами, держась то за одного, то за другого. Неожиданно солдат без руки заявил, что дальше он никуда не пойдет. К нему присоединился его товарищ без ноги. Полицейские начали свистеть, призывая на помощь. Трамвай продолжал стоять на месте.

Рабочие и работницы, увидев, что к трамваю бегут полицейские, вышли из вагона. А полицейские уже толкали инвалидов в спины, заставляя их идти.

Все это происходило перед зданием Института инвалидов. Когда раненые из окон увидели, что полицейские начали избивать двух солдат-инвалидов, они ватагой высыпали на улицу. Тут были и безногие, и безрукие. Кого тут только не было! Одни успели схватить метлы, другие — лопаты. Бежали они молча, но смотреть на них было страшно.

— Ах вы, гады! Убийцы! Это мы за вас издыхали в окопах, а вы нас теперь лупите! — кричали раненые.

Через минуту на улице собралась довольно боль-

шая толпа. Рабочие на чем свет стоит ругали полицейских.

— Большевизм захотели здесь установить! Давить нужно таких! — возмущались господа.

Неожиданно я увидел недалеко от себя старшего лейтенанта Гёргени и рядом с ним унтер-офицера Антала Киша. Гёргени был явно доволен и доброжелательно смотрел на толстого господина.

— Здесь никогда не будет большевизма, не так ли, Антал? — обратился он к Кишу, который быстро зашагал к полицейским.

На лице Киша играла довольная улыбка садиста, которую я не раз видел, когда он избивал солдат. Я преградил ему путь и так ударил в грудь, что он отскочил к Гёргени. Тот сразу же узнал меня.

Потасовка между ранеными из Института инвалидов и полицейскими шла полным ходом. Раненые пустили в ход костыли, палки, лопаты. Полицейские отбивались винтовками, а один из них даже колот какого-то раненого штыком. И только сильный удар по руке выбил у него винтовку из рук. В ответ на это другой полицейский начал стрелять, убив наповал слепого и ранив нескольких инвалидов.

Раненые стали драться еще ожесточеннее.

Антал Киш снова бросился к дерущимся и уже замахнулся, чтобы ударить сзади раненого, у которого не было одной руки, как в этот момент к нему подскочил раненый с ножкой от стола в руке. Киш мгновенно повернулся к нему лицом.

— Ах, это ты, негодяй? Антал Киш? Сейчас я с тобой рассчитаюсь!

Я присмотрелся к раненому. Лицо его показалось мне очень знакомым. Вот только одной руки нет. Боже мой! Да ведь это же Андраш Тана!

Киш вырвал у Андраша ножку от стола, которой тот собирался разmozжить ему голову, и замахнулся, чтобы ударить Андраша. Но тут к унтеру подскочил здоровенный рабочий и так треснул его кулаком по голове, что унтер закачался и повалился на землю.

— Вот тебе, получай за все! — воскликнул хорошо знакомый голос.

— Тома! Кальман Тома! — закричал я вне себя от радости.

Тома оглянулся, стараясь понять, кто его зовет. В то же время он наблюдал за Кишем, который медленно поднимался с земли, вытирая с лица кровь.

— Ну подожди, Тана, ты мне еще за это заплатишь! — погрозил Киш Андрашу. И, повернувшись к толпе, закричал: — Не будет здесь большевиков, никогда не будет! — И побежал прочь.

Тома бросился ко мне.

Заметив, что Гёргени вытащил пистолет и целится в Тану, я закричал:

— Андраш, берегись!

Андраш быстро нагнулся и, схватив кирпич, пустил его в Гёргени. Удар пришелся старшему лейтенанту по руке, и он выронил пистолет.

Победу одержали раненые, полицейские позорно бежали.

С места драки мы возвращались втроем: я, Тома и Тана, лицо которого светилось радостью. Я взял его за правую руку и, притянув к себе, обнял.

— Андраш! Вот где нам довелось встретиться!

Андраш смущенно заправлял пустой рукав френча в карман.

— Яни! Вот и встретились! — расчувствовался он и, показав на пустой рукав, добавил: — Вот видишь, и я заплатил за все, чему научился на фронте. Спасибо тебе, а то этот тип застрелил бы меня.

Я познакомил Тому с Андрашем.

— Мы с ним вместе кормили вшей в окопах, — объяснил я. — А тот, кто стрелял в него, — лейтенант из нашего батальона, сын помещика. Зверь, каких мало.

— Жаль, что мы его не прихлопнули, — сокрушался Тома.

Распрощавшись с Андрашем, мы с Томой пошли к нему домой.

ЗЕМЛЯ

Шел март. Как-то вечером в клубе Дома журналистов меня разыскал Йене Гамбургер и, отозвав в сторону, сказал:

— Быстренько собирайся! Едем!

— Куда?

Убедившись, что нас никто не слышит, Гамбургер объяснил:

— В Капошвар. Мы захватили имение графа Эстергази в сорок четыре тысячи хольдов земли.

Я с удивлением посмотрел на него.

— Не понимаешь? Мы так много говорили о том, что землю нужно раздать крестьянам...

Я вспомнил разговор о разделе земли. Только тогда мы еще не знали, с чьего имения придется начинать этот раздел. Правительство разработало закон о земельной реформе, состоявший из семидесяти семи параграфов. Когда с проектом закона познакомили делегацию батраков из Мезетури, те только головами покачали и сказали:

— Запутались мы в ваших семидесяти семи параграфах, ничего не понимаем. Одно вам скажем: земля нам нужна, вот и весь разговор. — И они ушли.

План Гамбургера мне понравился. Гамбургер хорошо знал крестьян и много рассказывал о них. Долгое время он работал врачом в Заласентгроте, куда к нему издалека приходили крестьяне и батраки со своими нуждами и горем. Поэтому он так хорошо знал крестьян и всю их жизнь. Расставаясь с ними, он обычно говорил: «Ничего, придет время, и все ваши беды спишем за счет графов». В январе 1918 года, когда началось массовое бегство солдат с фронта, Гамбургер организовал и возглавил в Надьканиже первую забастовку железнодорожников с целью сорвать отправку солдат на фронт. С помощью одного русского военнопленного он резал телефонные линии, разжигал революционный пожар в Задунайском крае. По сосредоточенному лицу Гамбургера я видел, что в голове у него зреют смелые мысли.

— Нужно обеспечить жителей Будапешта хлебом, — сказал он после паузы.

Я начал было громко изливаться свою радость по поводу плана Йене, но он осадил меня:

— Тише! Пока об этом никто не должен знать! А то и ты угодишь за решетку. — И он рассмеялся.

Затем он сказал мне, что о плане его не знает даже правительство. А если узнает, то нам уже никак не попасть в Капошвар.

— Когда выезжаем? — заторопился я.

— Сейчас!

Я оторопел от неожиданности. Значит, не удастся предупредить Шарику об отъезде. Заметив мое замешательство, Гамбургер засмеялся:

— Какой же революционер из тебя получится?

Из клуба мы пошли прямо на вокзал.

В купе, где мы оказались одни, разработали доско-нальный план — как неожиданно появимся в имении графа Эстергази, как заберем ключи и документы, как соберем всех батраков и как они выберут из своей среды директорский совет. Имение Эстергази было хорошо механизировано и по праву считалось в то время образцовым хозяйством. В нем был даже свой сахарный завод. Его придется превратить в кооператив. Когда же я поинтересовался, откуда мы возьмем столько специалистов, Гамбургер хитро улыбнулся:

— К утру туда приедут Акош Хевеши, некогда работавший управляющим, и Шандор Латинка, который возглавит кооператив. А ты вызовешь телеграммой своего старого друга Альфреда: ведь он инженер. Его-то мы и направим на сахарный завод.

Я от души радовался предстоящей встрече с Альфредом. Пока мы доехали до Капошвара, план был полностью готов.

— А что скажут на это члены коалиционного правительства? — спросил я.

— Представляю, как они разозлятся, когда узнают об этом. Готовы будут повесить нас, — с улыбкой ответил Йене.

Чтобы план наш стал реальностью, было решено в контору огромного графского имения заявиться в сопровождении капошварских красногвардейцев, командовать которыми будет Латинка. Меня и Акоша Хевеши Гамбургер пошлет в контору, а сам тем временем нагрянет в городской совет, чтобы он не смог помешать нам и не успел телеграфировать в Пешт правительству Карои о захвате имения.

В здании управляющего имением, когда мы туда прибыли, никого, кроме уборщиц, не было. Батрачек, находившихся около здания, наше появление удивило и одновременно обрадовало.

К приходу управляющего здание уже было в наших руках.

Увидев нас, он страшно рассердился.

— Что вам здесь нужно? — выдавил он из себя.

— Господин Фабер, присядьте, пожалуйста! — спокойно сказал я ему. — Вот сюда! — Я показал на стул, который стоял у письменного стола. — И прошу не возмущаться. Время, когда вы говорили с нами таким тоном, прошло!

Управляющий побелел и сел на предложенный ему стул.

— Прошу вас немедленно передать нам все дела и ключи от сейфов! — потребовал я.

Холеное лицо управляющего побагровело. Он вскочил со стула и, хватая ртом воздух, закричал:

— Я попрошу!.. Это разбой!.. Попрание частной собственности!..

— Мы пришли сюда не дискутировать. Передайте мне ключи и можете спокойно идти домой.

— Но я управляющий! Меня привлекут к ответственности!

— С сегодняшнего дня имение принадлежит рабочим и батракам. Они имеют право привлекать к ответственности каждого.

Управляющий удивленно таращил на меня глаза.

— Что такое?! Рабочие и батраки могут привлечь к ответственности господ? Такого еще никогда не было!

Я сделал знак рабочему, и он направился к управляющему, положив руку на кобуру нагана.

— Прошу вас... я снимаю с себя всякую ответственность... — забормотал тот.

Управляющий открыл сейф, ящики стола и положил на стол связку ключей, которые сразу же забрал Акош Хевеши. Управляющий, опустив голову, медленно вышел из кабинета.

Итак, бразды правления оказались в наших руках.

В скором времени собрались батраки и поденщики, которые работали в имении. Их напряженные лица светились надеждой. Гамбургер только что вернулся из города. Он сообщил собравшимся, что земля безвозмездно передается в их собственность. Все слушали затаив дыхание, стараясь не пропустить ни единого слова.

— Вы должны помочь рабочим, пролетариату Будапешта и других больших городов, так как они тоже помогают вам. Земля и свобода должны принадлежать

беднякам! — такими словами закончил свое выступление Гамбургер.

Собравшиеся не сразу поверили в то, что отныне земля принадлежит им.

— Да здравствует революция! — закричал вдруг кто-то.

И тут же этот лозунг подхватили сотни восторженных голосов.

— Все имение находится в наших руках, и сейчас мы торжественно передаем его вам на вечное пользование!

Слова Гамбургера потонули в вихре оваций.

Не прошло и нескольких минут, как батраки зашумели, зашевелились, стали вносить предложения о том, как управлять имением. Самых лучших выбрали в совет, в руки которого и было передано управление имением.

Утром следующего дня меня вызвал к себе Латинка.

— Ну, как дела? Что-нибудь случилось? — поинтересовался я.

— Из Будапешта получены две телеграммы на твое имя.

Оказалось, что обе телеграммы присланы из редакции «Непсавы». Текст один и тот же: «Немедленно возвращайтесь в Будапешт!»

Гамбургер получил телеграмму из министерства земледелия, в которой ему приказывали немедленно прекратить передачу земли батракам.

Руководство социал-демократической партии буквально атаковало Гамбургера, рабочий совет и Латинку своими указаниями:

«Немедленно прекратите самочинные действия с разделом земли! Отмените все распоряжения, сделанные вами ранее!»

Тревожные телеграммы, полученные из Будапешта, говорили о том, что там произошла смена руководства.

Не заставила себя ждать и телеграмма из ссудного банка, в которой говорилось о том, что мы попрали права на частную собственность. Наши действия расценивались как бандитизм и воровство. Нам предлагали немедленно вернуть имение его законному владельцу.

Разумеется, ни одно из полученных указаний не было нами выполнено. Гамбургер ходил довольный, посмеиваясь в усы. И только на следующий день, когда бумаж-

ные атаки стали еще ожесточеннее, он позвал меня к себе и сказал:

— Яни, мне, видимо, все же придется поехать в Будапешт и утихомирить там кое-кого. Я уже подготовлен к такому разговору. Вы с Латинкой останетесь здесь и будете следить за порядком. Я скоро вернусь.

После отъезда Гамбургера мне стало не по себе. Я почувствовал себя одиноким, но ненадолго: ведь меня поддерживали не только несколько тысяч батраков, работавших в имении, но и вся беднота Задунайского края, так как весть о передаче земли графа Эстергази беднякам разлетелась по всему краю с быстротой молнии. К нам шли бедняки из соседних деревень и господских имений, которые хотели узнать, каким образом они могут получить господскую землю. От нас они возвращались к себе домой и сами делили землю своих господ, которые тотчас же поехали жаловаться в рабочий совет. Сначала они требовали немедленного возвращения земли, а потом, разобравшись в обстановке, стали предлагать свои земли совету за соответствующий выкуп. Но они опоздали: земля уже находилась в руках батраков.

Скоро Гамбургер прислал из Будапешта курьера с письмом, содержание которого он не хотел передавать по телефону.

Письмо оказалось на редкость коротким и тревожным: «Будьте осторожны! Держитесь крепко! Из Будапешта к вам едет целая банда во главе с Надьятади».

Предупреждение это оказалось как нельзя кстати. Шандор Латинка знал, что нужно делать. Это был человек широкой души и большого мужества.

Получив это известие, мы сразу же созвали совет на совещание, оповестив бедноту из соседних имений.

Когда я и Латинка сообщили батракам, что из Будапешта едет целый поезд людей, которые хотят отобрать у них землю, в зале, где проходило совещание, на миг воцарилась тишина, но через минуту начался такой гвалт, что, казалось, стены зала вот-вот рухнут. Люди вскакивали с мест, кричали, протестовали.

— Что такое?

— Хотят забрать землю?

— Такого не будет!

— Землю мы не отдадим!

Когда первая волна возмущения спала, я спросил собравшихся, что они предполагают делать, и зал снова забушевал:

— Мы не допустим, чтобы графы и бароны возвращались сюда!

— Мы их так шуганем отсюда, что и ноги их здесь не будет!

Когда страсти поутихли, Латинка предложил поднять на ноги бедноту окрестных районов и, если нужно, всей области.

— Необходимо направить побольше народу на вокзал, — сказал он. — Нужно сделать так, чтобы этот поезд вообще не прибыл на станцию. А если он все же придет, то сделать так, чтобы из него не вышел ни один человек, и тут же отправить его обратно в Будапешт.

— Так их!

— Верно!

— Все придем на вокзал!

— С косами, с вилами придем! — шумели собравшиеся и тут же стали расходиться.

К полудню вокзал и привокзальная площадь были заполнены народом. Над головами людей блестел лесвил, лопат, кос. Собралось тысяч пятнадцать.

Члены специально выбранного комитета вошли в кабинет начальника станции. Возглавлял комитет Латинка. Начальник станции, маленький человек с красным лицом, готов был упасть в обморок. Он судорожно хватался то за лоб, то за волосы.

— Этот состав не должен прибыть на станцию! — потребовали члены комитета.

Человечек смотрел на нас ничего не понимающими глазами. Он нервно забегал по комнате, обхватив голову руками.

— Но я получил приказ сверху! Его надо выполнить! Из Пешта мне приказали принять этот поезд без задержек. Это же правительственный поезд! Вы понимаете, что такое правительственный поезд? Что я могу сделать?

— Сейчас же позвоните на соседнюю станцию и прикажите задержать состав, а затем отправить его обратно в Будапешт!

— Я не могу этого сделать! Не могу — и все! Для меня это равносильно смерти! Между прочим, состав, видимо, уже прибыл на соседнюю станцию.

— Немедленно позвоните туда и прикажите задержать.

— Не могу! Я же вам сказал: не могу! — И начальник станции снова заметался по кабинету.

Латинка открыл дверь кабинета и крикнул толпившимся в зале рабочим:

— Товарищи! Зайдите-ка сюда несколько человек! Господина начальника станции надо приободрить, а то он не соглашается задержать поезд.

В кабинет вошли несколько здоровенных батраков с косами и вилами в руках.

Увидев их, начальник станции побелел и бросился к телеграфному аппарату:

— Прошу срочно принять телеграмму! Приказываю задержать состав!

Затем он схватил телефонную трубку и, попросив связать его с соседней станцией, начал кричать в трубку:

— Немедленно задержать состав! Немедленно! Я приказываю! Меня заставляют делать это силой!.. — И он бросил трубку на рычаг. — Пожалуйста, я свое дело сделал. Но поезд уже вышел с соседней станции.

— Тогда немедленно опустите семафор!

— Опускаю! Опускаю! — И он побежал отдавать распоряжение.

Но было уже поздно, так как состав, пыхтя и отдуваясь, уже подходил к станции.

Толпа хлынула на перрон, окружив подходящий состав тесной стеной. Потрясая в воздухе вилами, косами и топорами, люди кричали:

— Отправляйтесь назад! Здесь не сойдет ни один человек!

И все же дверь одного из вагонов отворилась. Надьяти хотел было выйти на перрон, но несколько направленных на него вил заставили его вернуться в вагон. Тогда он высунул голову из окна и попытался говорить:

— Люди! Одумайтесь! Что вы делаете? Оказываете сопротивление законному правительству?

Но его слова тотчас же заглушил рев толпы:

— Убирайтесь к черту! Землю назад не отдадим!

Десятки вил, лопат и кос заходили перед окном. Оратор предпочел спрятаться в купе. Через минуту в окне показалась голова какого-то мужчины, но и ему не дали говорить.

Через несколько минут паровоз толкнул состав и медленно потащил его со станции.

— Уезжают! Уходят! Да здравствует свобода! Да здравствует революция!

— Землю не отдадим!

ПУЛЕМЕТНАЯ ОЧЕРЕДЬ

Вернувшись из Капошвара в Будапешт, я сразу же поехал к Кальману, чтобы объяснить ему и Шарике, куда и почему я так неожиданно исчез.

Когда я был в Капошваре, меня очень беспокоили известия, поступавшие из Будапешта. Правительство Карои и все руководство социал-демократической партии со злобой восприняли образование в ноябре Коммунистической партии Венгрии.

Создание партии сильно напугало их. Направляя в Капошвар Надьятади, они выступали не только против нас, коммунистов, но и против крестьян, горевших желанием скорее получить землю; против рабочих, которые симпатизировали Коммунистической партии; против горняков Шалготарьяна и металлистов Чепеля, против рабочих Печи и Сегеда. Отряды контрреволюционеров учиняли массовые расстрелы рабочих, а в это время коалиционное правительство своей земельной лжереформой пыталось вернуть графам и баронам их бывшие имения. Вот почему оно так обрушилось на нас за захват имения графа Эстергази в Капошваре.

Такие мысли витали у меня в голове, когда я шел к Кальману. Но чем ближе я подходил к его дому, тем больше думал о Шарике. Не исчезла ли она опять? Не преследует ли ее Кохари? Как она истолковала мое отсутствие?

Дома оказалась одна Катика. Она очень обрадовалась моему приходу, но тут же набросилась на меня с упреками, что я оставил в неведении Шарiku. Я пытался объяснить ей, почему не мог известить их о своем отъезде, но она и слышать ничего не хотела.

— Так где же теперь Шарика? — спросил я.

— Ушла! И слышать о тебе не хочет! — Но, заметив, как я помрачнел, добавила: — Наверное, опять пошла в редакцию узнавать о тебе. По три-четыре раза в день туда ходит. Все узнает. Ее уже выгнать оттуда стали.

— А Кальман где?

— Пошел на партийное собрание. Там будут говорить о требованиях, выдвигаемых демобилизованными солдатами. С тех пор как образовалась партия, он дома почти не бывает...

Не успел я расспросить обо всем Катику, как вернулась Шарика.

— Катика! На улице Непсинхаз стреляют в народ! — закричала она еще с порога.

Увидев меня, замолчала, однако в ее затуманенном слезами взгляде я прочел немой вопрос: «Где ты пропадал?»

— Я не мог приехать раньше... — начал было объяснять я, но Катика перебила меня:

— Важно, что он здесь! Об остальном он тебе позже расскажет. Он не мог поступить иначе. Так что же произошло на улице Непсинхаз? Кальман там?

— Да, он там. С крыши здания газеты «Непсава» стреляют по рабочим из пулеметов! Ах, Катика, если бы ты только знала, что я пережила! — Голос Шарика задрожал.

— Знаю, знаю. Ты думала, что Янош там, но, как видишь, он здесь. Значит, все в порядке, — успокаивала ее Катика.

Через несколько минут мы втроем уже шагали по улице, чтобы поскорее узнать, что случилось у здания «Непсавы».

— Как ты жила все это время? С тобой ничего не случилось? — шепотом спросил я Шарiku.

— А что могло со мной случиться? — удивилась девушка.

— Тебя никто не обижал?

Догадавшись, о чем я спрашиваю, Шарика еще крепче сжала мою руку и с упреком спросила:

— А разве Катика не рассказала тебе, как мы с ним встретились?

Я не ответил.

На перекрестке улицы Ракоци и Большого кольца было море людей. Со всех сторон слышался один и тот же вопрос: «Что случилось?»

Катика смотрела по сторонам, надеясь увидеть своего Кальмана.

— Я был там, — объяснил собравшимся вокруг себя людям пожилой рабочий. — В зале собрались участники

митинга — члены Коммунистической партии Венгрии. Были там и Бела Кун, и Самуэли, и Бела Ваго...

— Неправда! — выкрикнул кто-то из толпы. — Самуэли не мог там быть. Он в Москве, у Ленина!

Но пожилого рабочего было не так-то легко сбить с толку.

— Ну и умник же вы! Вы же там не были, а говорите! Слушайте меня: на митинге был и Самуэли, и все руководство партии. Рабочие только им и доверяют. Участники митинга требовали повышения заработной платы рабочим, уменьшения квартирной платы, предоставления всех прав демобилизованным солдатам, отмены посылки спецпоездов в провинцию. Компартия поддерживала все требования. Когда митинг кончился и все участники вышли на площадь Вёрёшмарти, кто-то крикнул: «Все к зданию «Непсавы»! Дадим понять Гарамни и Вальтнеру, что нам надоели их проволочки и измены!» Все двинулись на улицу Непсинхаз, где уже был расставлен усиленный наряд вооруженной полиции. Как только толпа свернула на улицу Конти, по рабочим стали стрелять с улицы и даже с крыши «Непсавы».

В это время со стороны улицы Непсинхаз раздался орудейный выстрел.

— Слышите? Все еще стреляют по нашему брату!

Мне стало страшно: с крыши «Непсавы» стреляют по рабочим!

— Товарищи, не позволим убивать наших братьев. Пошли! — закричал кто-то. Толпа вздрогнула и двинулась к улице Непсинхаз. Когда первая волна демонстрантов подошла к углу улицы Непсинхаз, навстречу стали попадаться бегущие женщины. Одна из них громко рыдала и причитала: «Еще одного рабочего убили на моих глазах!»

Сухо прозвучала пулеметная очередь. Толпа всколыхнулась и на миг замерла.

— Мало на фронте поубивали, так еще и здесь убивают! — кричала какая-то женщина.

За первой очередью раздалась вторая. Люди стали разбегаться по подворотням.

— Долой предателей! Да здравствует Коммунистическая партия Венгрии! — выкрикнул рабочий.

— Кальман! — закричала Катика, увидев мужа.

— Предатели! — грозил кулаком Кальман в сторону улицы Конти.

Через какое-то время стрельба затихла. На перекрестке лежало несколько убитых и раненых.

Позже мы узнали, что в ту же ночь полиция арестовала всех коммунистов, которых нашла в помещении партийных организаций или на квартирах. Были арестованы Бела Кун, Йене Ласло и другие.

— Они ищут повода для запрещения компартии, — объяснил нам Кальман.

На следующий день газета «Эшт» опубликовала репортаж, в котором рассказывалось о том, как полиция расправилась с арестованными коммунистами. Особенно бесчеловечно издевались над Белой Куном: его били подкованными сапогами в живот. Этим репортажем «Эшт», да и другие газеты, описывавшие это же событие, пытались запугать народ и заставить его держаться подальше от коммунистов. Но даже эти газеты были вынуждены признать мужество Белы Куна и его соратников. «Непсава», по указанию Гарами, поместила некролог, посвященный памяти расстрелянных коммунистов. Теперь я понял, как глубоко был прав Гамбургер, когда говорил, что с соцдемами-предателями нам, коммунистам, не по пути. Мы должны немедленно отмежеваться от них.

Войска Антанты тем временем окружили всю страну.

РАССВЕТ

Вместе с Кальманом, Катикой и Шарикой я шел по улице. У людей были злые лица. Напряжение достигло предела. Новости распространялись с быстротой молнии: пытки над арестованными, демонстрация коммунистов, забастовки на заводах, фабриках и в шахтах, о крестьянах, которые все настоятельнее требовали земли... Поступали новые данные о том, что войска Антанты все сильнее сжимают страну в тисках, забрасывая правительство угрожающими нотами. Народ же с вниманием следил за успехами венгерской Красной Армии.

— Новая нота Антанты! Новая нота Антанты! Будапештский представитель Антанты предъявил ультиматум правительству Карои! Воинские части Антанты оккупи-

ровали районы Венгрии, по площади равные почти половине территории страны!

Крики газетчиков, казалось, перекрыли все шумы большого города. Люди словно замерли, оцепенели от этих страшных новостей. Каждый невольно думал о том, что же теперь будет.

— Свободу арестованным коммунистам! — требовали рабочие.

Господа, дамы, офицеры ходили довольные, с просветленными лицами. Пусть приходят войска Малой Антанты: сербы, румыны, чехи — кто угодно, только не коммунисты!

Прохожие расхватывали свежие газеты. На лицах одних — недоумение и злость, на лицах других — радость и надежда. У всех на языке два слова: «Нота Викса! Нота Викса!»

— Что же теперь будет? — ни к кому не обращаясь, спросил Кальман.

— Придут войска Антанты!

— Прогоним их! — ответил Кальман и тут же добавил: — Нужно немедленно освободить Белу Куна и его соратников.

Люди шли к центральной тюрьме. Туда же направились и мы. У здания тюрьмы — огромная толпа. Вокруг — усиленный наряд полиции. В тюрьму время от времени прибывали какие-то делегации. Их пропускали через шпалеры полицейских. Любопытных и родственников арестованных, толпившихся у ворот, полицейские просили разойтись по домам.

— Сейчас за стеной будут расстреливать коммунистов! — с насмешкой проговорила какая-то разряженная дама.

— Пошла ты ко всем чертям! — закричал на нее рабочий.

Кальмана пришлось держать за руки, чтобы он не бросился на даму.

— Небось сейчас социал-демократы советуются с коммунистами! — предположил другой рабочий.

— Конечно, теперь им не остается ничего другого, как советоваться с коммунистами, раз Гарами и его приверженцы оказались такими трусами и изменниками.

Однако никто точно не знал, что же все-таки происходит за стенами тюрьмы.

Газеты выходили экстренными выпусками. На самом видном месте было помещено следующее сообщение: «Сегодня в одиннадцать часов дня полковник Викс вручил свою ноту правительству. Кабинет министров собирается на чрезвычайное совещание. Вечером руководство партии совместно с советом рабочих и крестьянских депутатов проводит заседание в Большом зале...»

А через несколько часов новая сенсация: «Правительство Карои подало в отставку».

Люди, казалось, перестали что-либо понимать. Кальман решил во что бы то ни стало попасть на митинг.

Газеты прочитывали на улице и тут же обменивались мнениями.

— Это было трусливое, бездеятельное правительство, — прочитав сообщение об отставке Карои, заметил стоявший рядом со мной мужчина, по виду рабочий. — Теперь рабочие должны за них расхлебываться.

— Да здравствует компартия! Да здравствует Бела Кун! — раздались выкрики.

Большой зал до отказа был заполнен членами совета рабочих и солдатских депутатов.

Митинг открыл Шандор Гарбаи:

— Согласно ультиматуму, содержащемуся в ноте Викаса, от Венгрии должна быть отторгнута половина территории страны: Сабадка, Сатмар, Арад, Надьварад и даже Дебрецен. Правительство не может согласиться с подобными требованиями. Помощи с Запада ждать нечего. Остается одно — взять власть в свои руки и провозгласить диктатуру пролетариата.

Напряженную тишину зала разорвали бурные аплодисменты и выкрики:

— Да здравствует диктатура пролетариата!

— Давно пора!

Гарбаи жестом попросил тишины и продолжал:

— То, чего мы не можем получить от Запада, мы получим от Востока.

— Да здравствует Советская Россия! — Огромный зал снова зашумел и зааплодировал.

— Между социал-демократической и Коммунистической партиями Венгрии должен быть мир, — продолжал Гарбаи, но его прервали:

— Да здравствует единство рабочего класса!

— Нам нужно социалистическое правительство! Диктатура пролетариата!

— Да здравствует диктатура пролетариата! — подхватил зал.

Митинг длился долго.

Последним выступил Болгар. Он торжественно заявил:

— Сегодня в одной из камер центральной тюрьмы родился документ большого исторического значения: там было подписано соглашение об объединении Коммунистической партии Венгрии с социал-демократической партией. Обе партии решили провозгласить диктатуру пролетариата...

Митинг окончился. Участники митинга быстро разнесли по городу радостную весть.

Когда известие о провозглашении диктатуры пролетариата дошло до войсковых частей, солдаты восторженно приветствовали это событие и дали клятву защищать родину, которую они только что обрели.

На рассвете из центральной тюрьмы выпустили Белу Куна и его соратников.

Самуэли был против объединения двух партий: он считал, что время для этого еще не пришло.

После митинга мы пошли к Кальману, где Шарика и Катика с нетерпением ждали нашего возвращения. Рассказали им о том, что было на митинге. Радость их не имела предела. Шарика заулыбалась и прижалась ко мне.

— Мы будем свидетелями на вашей свадьбе, — вдруг заявила Катика.

Кальман заулыбался во весь рот.

— Я подыщу вам квартирку...

Рассвет нового дня мы встретили на улице.

Небо на востоке горело, отбрасывая яркие лучи солнца на окна домов. Лишь окна старых особняков были закрыты жалюзи. Несмотря на ранний час, на улицах было много народу: рабочие, студенты, мастеровые шли небольшими стайками, некоторые пели, несли красные флаги.

Скоро стали попадаться группы вооруженных солдат. Рабочие торжественно приветствовали солдат.

Навстречу нам шел отряд рабочей гвардии с винтовками на плечах. Рабочие шли, строго держа равнение и четко печатая шаг.

На перекрестках улиц — группы людей, которые спешили поделиться друг с другом новостями.

— Шахтеры и рабочие присоединились к революции!

— Совет рабочих и крестьянских депутатов на стороне революции!

— Полиция тоже изъявила желание присоединиться!

— На Западе паника!

— Народы Европы солидаризируются с нами!

— Ленин прислал рабочим телеграмму, в которой приветствует венгерскую революцию!

Мы с гордостью шли по улицам города. Вместе с нами шел Тичка. На лице у него выступили багровые пятна. Чувствовалось, что болезнь его принимает все более серьезный характер.

На какой-то улице рядом с нашей колонной оказалась продавщица цветов.

— Фиалки, мартовские фиалки! Покупайте фиалки!

Я шел рядом с Шарикой навстречу солнцу, весне, новой жизни...

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«К оружию! К оружию!» — зывали расклеенные на афишных тумбах, стенах домов, заборах и деревьях плакаты, на которых был нарисован бегущий солдат с высоко поднятой винтовкой в руках. Рот солдата был широко раскрыт. Казалось, он кричал: «К оружию! К оружию!»

На защиту Венгерской Советской Республики вставали рабочие Чепеля и Андьялфёльда, шахтеры, учителя и служащие. С оружием в руках отправлялись они на защиту своей пролетарской родины. Собираясь на сборных пунктах, они пели марши Ракоци и Кошута, «Марсельезу» и «Интернационал».

На многочисленных собраниях и митингах с речами выступали Бела Кун, Самуэли, Корвин и Саллаи, Ландлер и Гамбургер. Они призывали жителей Будапешта отразить наступление интервентов. За два дня в венгерскую Красную Армию вступило более десяти тысяч рабочих.

Лозунг «К оружию!» звал людей на борьбу.

Через несколько часов я совершенно случайно встретился на улице с Имре Бейтошем. Удивлению моему не было границ. Мы разговорились.

Имре вытащил из кармана первое постановление правительства Республики и стал читать:

— «Пункт первый. Мира, хлеба, свободы! Пункт второй. Национализация заводов, земли, банков. Пункт третий. Снижение квартирной платы. Пункт четвертый. Социальное страхование жизни рабочих. Теперь каждый из вас работает на самого себя...»

— А что значит «национализация»? — спросил он у меня.

— Национализация — это значит, что отныне все фабрики, заводы и земля будут принадлежать народу, государству.

— Это значит, и земля станет нашей? — не унимался Имре.

— Правильно, и земля тоже!

— Но когда? — Имре смерил меня взглядом. — Мой дед и прадед в свое время тоже мечтали получить землю. Получит ли ее мой отец?

— В первую очередь нужно выбросить из страны интервентов и прячущихся за их спинами графов и баронов, которые готовы ободрать нас как липок, — начал объяснять я.

Имре молча сложил бумагу и спрятал ее в карман. Лицо его помрачнело.

— Потому-то я и пошел в Красную Армию...

Позже я узнал, что в Красную Армию ушли Калла и Цегледи. Каллу даже назначили командиром отряда моряков.

Бойцом венгерской Красной Армии стал и я, покинув свой дом. Домом я называю комнатку, которую мы с Шарикой сняли на улице Пожони. Мы были бесконечно счастливы. Но долг звал меня туда, где шел бой с врагом.

— Я сестра милосердия, и мое место на фронте, — заявила мне однажды Шарика. — Там я смогу принести пользу.

Мне с большим трудом удалось отговорить ее от этого шага, убедить, что и здесь, в тылу, она тоже нужна.

Меня назначили редактором газеты «Красный солдат» («Вёрёш катона»). По долгу службы я часто бы-

вал на передовой, откуда присылал в редакцию статьи и репортажи.

Войска интервентов продвигались вперед, сжимая республику тесным кольцом. Румынские войска приближались к Сольноку и Будапешту. На севере страны готовились нанести удар белочешские войска. В Сегеде находились французские воинские части.

Я только что приехал под Сольнок, где батальоны Красной Армии выдержали свое первое боевое крещение в бою с румынскими частями. Офицеров вызвали на КП, который помещался на чердаке небольшого дома неподалеку от берега Тисы.

Штабные офицеры были уже в сборе и наблюдали через окно за передвижением войск противника на противоположном берегу. Разговаривали вполголоса, чтобы не привлечь внимания.

— Переправочных средств у них явно недостаточно.

— Да и артиллерия слаба.

— Солдаты оборванны, выглядят уставшими. Видимо, и румынам эта война не по душе.

— Мы вполне можем воспрепятствовать переправе, сосредоточив по ней огонь нашей артиллерии.

— Румынские бароны зарятся на наши земли.

Вдруг один из офицеров посмотрел на меня и, улыбнувшись какой-то странной улыбкой, спросил:

— Вы, кажется, журналист? Ну так вот, напишите, что противнику не удастся переправиться через Тису.

Оторвавшись от окна, меня смерил взглядом другой офицер.

— Сейчас перед нами только румынские части. Но позже придется встретиться с белочехами, а возможно, с французами и даже с англичанами. Вся Европа ополчилась против нас. Вот и возникает вопрос: выдержат ли их натиск необученная армия рабочих? Скоро начнется первое испытание.

Кто-то из офицеров сунул мне в руки полевой бинокль и, подтолкнув поближе к окну, бросил:

— Пожалуйста!

В бинокль было хорошо видно, как румынские солдаты сосредоточиваются на подходах к мостовым опорам. Было заметно большое движение.

— Открыть огонь по правому берегу! — передал приказ по телефону на огневые позиции артиллерии офицер.

Прошло несколько секунд, и наша артиллерия заговорила, сотрясая землю грохотом разрывов. Артиллерийская подготовка продолжалась несколько минут.

Все прильнули к окну. Когда дым и пыль немного рассеялись, стало видно, как солдаты противника бежали от моста.

Открыла огонь и румынская артиллерия, но огонь ее был редким и неточным: большая часть снарядов ложилась далеко от цели.

Воспользовавшись временным замешательством в рядах противника, части Красной Армии перешли в наступление, оглашая воздух громогласным «ура». Румыны попытались было перейти в контратаку, но безуспешно, так как сосредоточенный огонь артиллерии не давал им возможности вновь подойти к мосту.

Офицер, который раздумывал, выстоит ли Красная Армия, закурил сигарету и сказал, обращаясь ко мне:

— Теперь ясно, что румынам действительно не удастся переправиться через Тису. Теперь смело можете писать, что они не прошли!

Как-то меня вызвал к себе Тибор Самуэли, чтобы я получил представление о том, что делается в тылу.

Он повел меня в здание, где раньше размещался областной суд. Самуэли и двое судей (оба, видимо, из рабочих) заняли места за судейским столом. Самуэли сделал знак, и в зал ввели арестованных. В основном это были хорошо одетые господа, но среди них оказалось и несколько человек в грязной, драной одежде, с измазанными лицами. Однако, внимательно приглядевшись к ним, нетрудно было заметить, что на настоящих рабочих они все же не похожи: у них были сытые лица, животы выпирали. Они то и дело бросали беспокойные взгляды на членов трибунала. Некоторые арестованные откровенно признались в том, что вступили в сговор с румынскими боярами и французскими офицерами, чтобы задушить Венгерскую Республику и вернуть себе власть.

Один из арестованных, толстый, с двойным подбо-

родком и маленькими свинными глазками помещик, на все вопросы суда отвечал так:

— Мои вшивые батраки хотели мной командовать, отнять у меня землю.

— А кто вам сказал, что у вас отнимают вашу землю? — спросил у него Самуэли.

— Как кто? Люди говорят. — И он обвел взглядом господ, сидящих на скамейке. — И не только мою землю, но и родину, и жену, и дочь, которые тоже будут принадлежать батракам, и не кому-нибудь одному, а всем сразу.

— Какую ерунду вы говорите! Почему вы подожгли свое гумно и приказали перерезать всех коров и телят? Это вам тоже люди посоветовали?

Помещик замолчал. Видимо, думал, стоит ли вообще отвечать на подобные вопросы. Окинул взглядом своих коллег, будто ища у них поддержки, и с ненавистью пробормотал:

— Пусть лучше все съедят собаки, чем... — Он споткнулся на полуслове.

— Чем съедят батраки или рабочие? Не так ли? — кончил за него Самуэли. — А эту мысль вам кто подсказал?

Толстый господин упрямо молчал, уставившись в потолок. Остальные арестованные с нетерпением ждали, что будет дальше. Арестованные не знали, кто такой Самуэли, и, видимо, не принимали его за главного.

— Вы Эндре Гёргени из Абони? — спросил Самуэли господина, теребившего в руках охотничью шляпу.

«Гёргени Эндре, — мелькнуло у меня в голове. — Значит, это и есть отец нашего старшего лейтенанта».

— Эту фамилию мои предки с честью носят уже пятое столетие, — с гордостью ответил Гёргени.

— Значит, это вы передавали румынскому полковнику Титулеску данные о Красной Армии?

— Я? Нет!

— Разумеется, не лично, а через третьих лиц. — И, обратившись к часовому, который стоял в стороне, приказал: — Введите Йозефа Чордоша!

Ввели пожилого сгорбленного мужчину с седой головой. Он подошел к столу и боязливо огляделся.

— Скажите, Йозеф Чордош, приказывал ли вам господин Эндре Гёргени передать письмо румынам?

Вопрос этот испугал Йожефа Чордоша. Он в недоумении переводил взгляд с Гёргени на Самуэли и обратно. Так продолжалось несколько секунд. Потом взгляд его стал строже, а где-то в глубине глаз блеснули злые искорки. Повернувшись к Самуэли и выпрямившись, он сказал:

— Я действительно получил от Гёргени такое письмо. Только передал его не по назначению, а первому попавшемуся солдату Красной Армии. Хватит, полупили меня плетью.

— Вас бил плетью господин Гёргени?

— Бил, и не раз. Теперь, я слышал, другое время, и батраков за людей считают.

— Вы правы. Батраки получили не только землю, но и свободу, — отозвался Самуэли.

— Мне приказали передать это письмо румынам. В противном случае обещали спустить шкуру, но теперь этого уже никто не может сделать.

— Вшивая сволочь! — не выдержал Гёргени.

— Это ваш сын, старший лейтенант Гёргени, расстрелял в Шалготарьяне нескольких шахтеров только за то, что они хотели присоединиться к коммунистам? — спросил Самуэли.

— Это уж его дело! — буркнул помещик.

Самуэли подал знак охране, чтобы Гёргени увели. Когда дверь за помещиком закрылась, Самуэли обратился к Чордошу:

— Не беспокойтесь, товарищ Чордош, теперь вас уже никто не будет бить плетью и вы можете работать, где захотите. Вы свободны.

Чордош медленно пошел к выходу.

Заседание трибунала продолжалось еще долго. Когда оно кончилось, Самуэли подошел ко мне. Вид у него был усталый, но когда он заговорил, в его голосе чувствовалась твердость.

— Видел, как всякая контрреволюционная сволочь ополчается против нас, вступая в сговор с внешними врагами? В борьбе с ними мы должны быть беспощадными, или они сожрут нас. Эта борьба не на жизнь, а на смерть. И мы доведем ее до конца, чтобы все простые люди могли жить по-человечески...

Я смотрел на усталое, исхудавшее лицо Самуэли, на его добрые глаза.

В главной штаб-квартире венгерской Красной Армии в Гёделле жизнь была ключом.

Однажды вечером меня пригласил к себе на ужин начальник генерального штаба Аурел Штрumpfельд. Штаб располагался в бывшем королевском дворце.

Штрumpfельд, высокий, представительный мужчина, держал себя довольно скромно. Я невольно думал: что заставило этого высокопоставленного офицера королевской армии перейти на сторону революции? Ответ на этот вопрос я получил значительно позже. Штрumpfельд был неразговорчив и, как он выражался, не любил философствовать. Это был типичный военный: приказывал и сам повиновался.

Он не любил рассказывать о том, что и ему в старой армии приходилось несладко.

Я нашел Штрumpfельда в его рабочем кабинете, где в последнее время он даже спал. Часто его можно было застать далеко за полночь склонившимся над картой, с цветными карандашами в руках.

Свет настольной лампы падал на живое, энергичное лицо Штрumpfельда, отбрасывая на большую карту, висевшую на стене, тень от его крупной фигуры. Когда я вошел, он поднял голову и нахмурился: он не любил, когда ему мешали работать.

Я поздоровался. Штрumpfельд посмотрел на меня усталыми глазами и улыбнулся:

— На ужин прибыли? Сегодня ужина не будет, по крайней мере для меня.

И он перевел свой взгляд на телефонный аппарат.

— Ждете звонка? — поинтересовался я.

— Возможно! — коротко отрубил Штрumpfельд тоном, который, казалось, говорил о том, что об этом можно было бы и не спрашивать.

Затем он посмотрел на дверь, словно лишний раз хотел убедиться, плотно ли я прикрыл ее за собой. Я догадался, что начальник штаба ждет очень важного сообщения.

Я начал расспрашивать его о положении дел на фронте, но Штрumpfельд остановил меня, показав глазами на телефон.

Через несколько секунд телефон действительно зазвонил. Штрumpfельд схватил трубку и крепко прижал ее к уху.

— Алло! Алло! Да, слушаю! Не расслышал! Прошу повторить еще раз!

Лицо его на миг стало серьезным и злым, но тут же подобрело и даже засветилось радостью. Каким-то совсем другим голосом он заговорил:

— Да, да! Понимаю, товарищ Кун! Значит, на рассвете? Хорошо. До свидания!

Кончив разговор, Штромфельд еще несколько секунд не отрывал трубки от уха, потом медленным движением бесшумно положил ее на рычаг. Подойдя ко мне, он обнял меня за плечи и с силой, по-дружески потряс, потом отпустил и начал ходить по кабинету.

— Разобьем мы белочехов! — бросил он.

Неожиданно, не дойдя до угла, остановился, посмотрел на меня и, улыбнувшись, поправился:

— Разобьем буржуазную армию! Видите ли, я не политик, однако прекрасно понимаю, что в этой войне столкнулись две армии совершенно противоположного типа: русская армия с интервентами и наша армия с внешней и внутренней контрреволюцией. Я же всего-навсего солдат. На мою родину напали, и я обязан ее защищать. Уверен, что мы разобьем противника. Уверен потому, что хорошо знаю эту армию рабочих и крестьян. К сожалению, у нас не было времени как следует обучить нашу армию; нет у нас в достаточном количестве и оружия. Многие рабочие, пришедшие в армию, до сих пор сражаются с врагом в своей одежде: у нас не хватает обмундирования. Но зато с каким воодушевлением, с какой верой сражаются они с хорошо вооруженным противником! С такой армией нельзя не победить. — Штромфельд немного задумался и продолжал: — Против нас идут не чешские рабочие, нет! Все рабочие Европы поддерживают нас!..

Я молча слушал.

Посмотрев на меня еще раз, Штромфельд подошел к письменному столу и склонился над картой.

— Мы наверняка разобьем их.

— Вы уже получили указания правительства? — поинтересовался я.

— На что?

— На проведение операции на рассвете.

— До рассвета еще далеко. — Штромфельд подошел

к большой карте, висевшей на стене, и стал изучать линию фронта. Потом повернулся ко мне:

— Как видите, сегодня ужин не состоится. Я должен работать.

Потом он снова подошел к столу и нажал кнопку звонка. Через секунду дверь открылась, вошел адъютант в чине капитана.

— Прошу пригласить ко мне офицеров штаба!

Я распрощался со Штрumpfельдом и поспешил в специальный поезд. Все ждали приказа о наступлении, чтобы отбросить белочехов от Мишкольца, которому они угрожали.

Когда части Красной Армии остановили румынские войска под Сольноком, наш штаб забросали телеграммами и угрозами, полученными из Праги от французского генерала Пелле. Но на нас эти угрозы не действовали. Тогда интервенты решили немедленно начать наступление на Венгерскую Советскую Республику с севера.

В то время Красная Армия не располагала достаточными силами, чтобы сражаться с интервентами на два фронта. Белочехи успешно продвигались вперед, сжигая на своем пути целые деревни, убивая мирных жителей, издеваясь над пленными красноармейцами и рабочими. Очевидцами всего этого мы стали несколько позже, когда наши части перешли в наступление. Из бесед с пленными чехами мы узнали, что все эти бесчинства совершали офицеры. «Значит, и там есть такие, как Гёргени и Кохари», — подумал я.

Когда я вошел в вагон, мне сказали, что выступление назначено на час ночи.

21 марта, раннее утро.

Мы ехали на специальном поезде командующего. Немного не доехав до Мишкольца, остановились. Там нас уже поджидали крестьянские подводы, на которых мы поехали дальше по полевой дороге. Еще дальше с подвод пришлось сойти и идти пешком. Приказано было не курить и не разговаривать. Впереди с группой штабных офицеров шел наблюдатель от итальянских социалистов. По его словам, событиями, происходящими в Венгрии, интересуются не только в Италии, но и во всей

Европе, и даже больше того — во всем мире. Всех интересовало, победит ли советская власть в бассейне Дуная. Были здесь наблюдатели и из Австрии, но с иными целями.

В первом эшелоне находилась дивизия Ландлера, которая должна была первой нанести удар по противнику. Через какое-то время мы подошли к заранее подготовленному для нас наблюдательному пункту.

— Видишь гору Аваш? Там у противника огневые позиции артиллерии, — шепнул Бёму один из офицеров.

Начало рассветать, и на горизонте, подернутом легкой дымкой, стали вырисовываться контуры вокзала.

— Сейчас начнется! — посмотрев на часы, заметил Бём.

И действительно, не прошло и нескольких минут, как над нашими головами засвистели снаряды, выпущенные нашей артиллерией. А еще через несколько секунд их разрывы можно было наблюдать на склонах и вершине Аваша.

Вслед за нашими пушками заговорила артиллерия противника. Сначала редко и беспорядочно, потом ритмично. Разгорелась жаркая артиллерийская дуэль. Вражеские снаряды рвались недалеко от нас, поэтому пришлось уйти в укрытие.

Тем временем стало еще светлее. Видны были не только станционные здания и отливающие серебром нитки многочисленных путей, но и снующие по ним паровозы с вагонами. Снаряды нашей артиллерии ложились на станции: то там, то сям можно было видеть, как в воздух летели колеса, доски от вагонов. На станции поднялась паника. Солдаты противника испуганно бежали по перрону, не зная, где найти убежище.

Наконец справа на путях показался наш бронепоезд. Он полз, ворочая башнями с пушками, которые нащупывали важные цели. Однако интервенты быстро опомнились и пустили против него свой поезд с несколькими открытыми платформами, на которых были установлены пушки. Началась артиллерийская дуэль двух поездов, продолжавшаяся всего несколько минут и кончившаяся тем, что несколько прямых попаданий сделали поезд противника полностью небоеспособным.

Постепенно смолкла и батарея противника, обстреливавшая нас с горы Аваш. Как только артиллерийская

канонада смолкла, солдаты Ландлера перешли в наступление. Чехи начали отходить, прикрываясь огнем жиденьких заградительных отрядов, которые безуспешно старались задержать продвижение наступающих войск.

Корпус Ландлера с ходу захватил железнодорожную станцию и стал просачиваться в город. Полностью город был занят только на следующий день. В первых рядах наступающих шли рабочие роты, сражавшиеся с невиданным до сих пор воодушевлением. Чувствовалось, что эти простые люди защищали свою родину. После взятия Мишкольца было обнародовано послание к рабочим Чехии и всей Европы, в котором говорилось, что венгерские рабочие сражаются за свою родину, сражаются и за них. Дальше шел призыв к солидарности.

Убитых (их особенно много оказалось среди металлистов и почтовиков, шедших в первых рядах) похоронили с почестями. Население города радостно встретило своих освободителей. Богачи ушли из города вместе с отступающими войсками противника. Жители города стояли на улицах, приветственно махали нам и кричали:

— Да здравствует Красная Армия!

— Да здравствует свободная родина трудящихся!

— Да здравствует союз советского и венгерского народов!

Красноармейцы шли в колоннах, распевая революционные песни. На лицах некоторых жителей можно было заметить слезы. Я видел, как Ландлер снял и протер очки, хотя стекла совсем не запотели.

После взятия Мишкольца части Красной Армии должны были двигаться дальше на север, разрезать надвое фронт чехов и румын, чтобы через Карпаты выйти на соединение с Красной Армией русских. Таков был план Штрumpfельда.

Париж, Лондон и Вашингтон негодовали и содрогались от страха.

«МОИ ДОРОГИЕ СЫНКИ»

«Мои дорогие сынки» — так обычно командующий третьим корпусом Йене Ландлер называл своих солдат.

— Вот они, мои сыновья, сыны рабочего класса, на-

ше самое большое богатство, — говорил он и добавлял: — Новые творцы новой истории.

Особенно он любил железнодорожников, вместе с которыми прошел большой и длинный путь. Когда-то он руководил первой крупной забастовкой железнодорожников, потом был их адвокатом.

— Знаешь, сынок, — сказал мне Ландлер, когда мы с передовой возвращались в штаб корпуса, — если бы я не нашел своего призвания в борьбе за рабочее дело, то давно погиб бы. Я раньше неплохо зарабатывал и жил в достатке. Обслуживал старое общество, так сказать. Пил, развлекался, играл в карты, ни в чем не зная нужды. Тогда я, разумеется, не понимал, что живу не так, как следовало бы, хотя чувствовал, что так жить дальше нельзя. Пытался искать смысл жизни и, не найдя его, катился все дальше вниз по наклонной плоскости. Впервые я нашел себя только тогда, когда мне пришлось защищать этих людей на судебном процессе, где их объявили руководителями всевенгерской стачки железнодорожников. Тогда я впервые понял их мораль, их мир, их чаяния. Это люди с чистым сердцем, стремящиеся к свободе и счастью, причем не только для себя, но и для всего человечества. Вот тогда-то я и нашел цель жизни, обрел новую человеческую мораль. Мои железнодорожники и вывели меня в новый мир. Без них я бы опустился, просто пропал. Вот почему я и называю их так ласково: «Мои ребята».

Я не знал, что ответить Йене, и потому молчал, радуясь тому, что иду по пути этих ребят.

Над нашим автомобилем невысоко в небе кружил самолет.

— А вдруг это французский истребитель? — заметил один из офицеров штаба, высунувшись из машины.

— Гони быстрее! — приказал Ландлер водителю.

Шофер прибавил газу. Машина запрыгала по изуродованному снарядами шоссе. Все мы подпрыгивали на ухабах, касаясь головами верха.

Через несколько минут самолет снизился и начал обстреливать нас из пулеметов. Но нам все же удалось уйти от преследования: мы свернули на узкую полевую дорогу, ведущую в лесок. Никто из нас не пострадал.

Передовые позиции румынских и чешских войск проходили у Тисалуца по берегу реки Шайо. Ландлер приказал перебросить на этот участок фронта несколько орудий крупного калибра, на которые он возлагал большие надежды.

Орудия были благополучно переброшены к Тисалуцу, установлены на огневой позиции и ждали приказа об открытии огня. Наблюдатели заняли места на НП, находившемся на колокольне небольшой церквушки. Красноармейцы с любовью называли эти пушки «большими Бертами». Орудия открыли огонь. Снаряды падали на противоположном берегу, вызывая панику среди солдат противника. Оправившись от первого потрясения, противник начал обстреливать наши позиции из пушек. С большим трудом удалось стащить Ландлера с колокольни, где он наблюдал за результатами стрельбы нашей артиллерии.

Командный пункт командира дивизии находился в большом крестьянском доме. Артиллерийская дуэль продолжалась еще довольно долго. Опытные офицеры по свисту пролетающих над головами снарядов определяли место, где они могут разорваться. Большинство снарядов делало перелет, но скоро они стали рваться неподалеку от нас, и офицерам штаба пришлось бежать в отрытое в конюшне укрытие. Но Ландлер не побежал. Он остался сидеть на своем стуле.

— Эх вы, трусы, как же я могу с такими офицерами разбить противника? Вот возьму и отдам всех вас под военный трибунал! — кричал он.

Все смеялись. Смеялись и глаза Ландлера.

Однако скоро снаряды стали ложиться совсем рядом, и Ландлеру пришлось бежать в убежище.

— Придется созвать заседание военного трибунала и судить за трусость командующего корпусом, — шутил Ландлер.

На следующий день бригада перешла в наступление, тесня чехов. В тот же день в штаб стали поступать телеграммы от французского генерала Пелле, который требовал немедленно остановить наступление войск Красной Армии на севере под угрозой наступления войск Антанты на юге, под Сегедом.

Но остановить успешное продвижение рабочих полков на север было уже невозможно.

Штаб дивизии переместился на новое место и расположился в замке старого графа Дегенфельда, который по каким-то причинам не успел уехать в Вену, куда бежали все графы и банкиры.

Граф, типичный аристократ, был стар. Угодливо улыбаясь, он пригласил нас к себе в замок.

— Прошу вас, господа, распоряжаться моим имением и мною, как вам заблагорассудится! — Он показал нам замок и смутился только тогда, когда мы приблизились к его винному погребу. Граф пригласил офицеров отобедать у него. Мы согласились.

— Господа, поскольку вы решительно заявили, что не пьете, я не знаю, могу ли предложить вам по бокалу вина, — обратился граф к Ландлеру.

— Ну что ж, по бокалу так и быть выпьем, если вы так настаиваете, — усмехнулся Ландлер.

Граф с удовольствием опустошил свой бокал и стал смелее.

— Признаюсь, господа, когда я увидел вас, то приготовился к самому худшему. Друзья перед отъездом в Вену рассказывали мне, что коммунисты вздергивают каждого аристократа там, где застают. Я же нахожу, что вы вполне цивилизованные люди, и даже лучше некоторых из нас. Правда истории на вашей стороне. Наше сословие обречено на умирание, и поэтому не столь важно, останусь я в живых или нет.

Не знаю, насколько откровенен был с нами старый граф. Вполне вероятно, что все это он говорил только для того, чтобы спасти свою шкуру.

У графа мы не задержались: нужно было перемещать штаб дальше, на север.

В это время я получил неприятное известие от Шарики.

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Из главной штаб-квартиры Красной Армии, которая находилась в Гёделле, я с несколькими товарищами на дрезине выехал в Пешт. За восемнадцать минут мы благополучно докатили до Восточного вокзала.

В первую очередь я направился в редакцию газеты «Вёрёш катона», чтобы сообщить о последних событиях,

происшедших на Северном фронте, и поговорить о плане работы на ближайшее будущее.

Мне рассказали, что многочисленные угрозы генерала Пелле не были напрасными. Интервенты собирались нанести удар по Венгерской Советской Республике с юга, из района Сегеда, вынудив нас тем самым отказаться от наступления на севере.

Положение в стране осложнялось еще и тем, что во всех уголках поднимало голос контрреволюционное отребье. На нас ополчились с оружием в руках бывшие помещики, судьи, офицеры.

В Ясвароше, где я являлся представителем революционной власти, была организована провокация, стоившая жизни нескольким десяткам человек. Мне предстояло на месте во всем разобраться. От Катики я получил тревожное письмо. Она писала, что Кохари не дает покоя Шарике. Едва я успел переступить порог дома, как на шею мне бросилась Шарика. Она рассказала о встрече с Кохари.

— Увидел он меня как-то возле Западного вокзала; я шла домой. На нем был довольно поношенный гражданский костюм. Видимо, Кохари не хотел выделяться. С ним было несколько офицеров и гражданских. Когда они поравнялись со мной, я услышала, что они говорят о каких-то поездках в Сегед и в Вену. Заметив меня, Кохари побледнел, потом взял себя в руки, улыбнулся и, отделившись от товарищей, подошел ко мне. Вся компания громко засмеялась. Я пошла быстрее, чтобы скрыться в толпе прохожих, но Кохари шел за мной. Не дойдя до моста Маргит, я свернула на улицу Пожони. Кохари за мной уже не шел: то ли он потерял меня, то ли следовал до самого дома, но держался на приличном расстоянии. С тех пор я ужасно боюсь встретиться с ним где-нибудь на улице, а когда захожу в дом, то сразу же запираю дверь на ключ.

Беспокойство мое сменилось злостью. «Почему офицеры говорили о поездках в Сегед и Вену? Тут что-то кроется! Но что? Какая связь может быть между этими городами?» — думал я.

Я стал успокаивать Шарiku.

— Когда ты здесь, я ничего не боюсь! — твердила она мне.

— Почему же тогда ты не осталась жить у Катики?

— После этого случая я почти все дни была у нее, но ночевать все равно шла домой, так как думала, что ты придешь.

— Когда я уезжаю, ты всегда можешь ночевать у Катики!

Шарика рассказала мне, что сейчас она работает в госпитале сестрой. Работы очень много, так как с фронта каждый день привозят все новых и новых раненых.

Наговорившись вдоволь, мы пошли проводить Катикку. Я рассказал ей, что видел Кальмана. Он жив и здоров, воюет с врагами революции и шлет ей привет.

— Ну, мы здесь тоже не сидим сложа руки, — заметила Катика и лукаво посмотрела на Шарикку.

В Ясварош я выехал вместе с наркомом Анталом Гуттом. Ходили слухи, что виновниками организованной в городе провокации были бывшие офицеры, среди которых находился и Кохари. Само собой разумеется, никого из них в городе мы не застали: все они предусмотрительно сбежали.

Когда картина более или менее прояснилась, Антал вернулся в Будапешт, а разобраться в деталях всей этой истории поручил мне.

В ходе разбирательства передо мной раскрылась ужасная картина. Оказалось, что городская директория, чтобы утихомирить волнения в городе, организовала большой митинг. Неизвестные лица распространяли по городу ложные слухи. Проведение постановлений правительства республики в жизнь всячески тормозилось. На рынках устраивались самые настоящие бозобразия: провокаторы советовали крестьянам выступать против советской власти. Спекуляция шла полным ходом. Богатых крестьян натравливали на бедняков. Интеллигенцию запугивали. Все это сказалось на волнениях в городе. Тогда-то директория и решила созвать общегородской митинг, чтобы разоблачить на нем распространителей ложных слухов.

На центральной площади собралась огромная толпа людей. Жители с нетерпением ждали митинга.

Основным докладчиком был Бокани. Для поддержания порядка к площади стянули солдат не только из местного отряда охраны, но даже и из области. Солдаты, прибывшие из области, расположились в здании городской управы.

Наконец митинг начался.

Бокани спокойно делал свой доклад. Но едва только он стал призывать народ разоблачать паникеров и саботажников, как из здания суда раздалось несколько револьверных выстрелов. В суматохе никто не понял, откуда стреляют. Одна старуха была убита наповал. На крыше банка стояли несколько красноармейцев, которые тотчас же начали стрелять, чтобы выстрелами предупредить гарнизон об опасности.

На площади началась паника. Толпа бросилась врассыпную. Провокаторы открыли стрельбу, целясь в центр толпы.

Десять человек было убито и много ранено.

Во время следствия мне удалось установить, что инициаторами провокации были Кохари и реакционно настроенные студенты университета. Однако ни одного из них арестовать не удалось, так как все они сбежали. Говорили, что в Сегед.

Подобные контрреволюционные выступления наблюдались и в других районах. Контрреволюция все смелее поднимала голову.

Когда я вернулся в Пешт, то застал у себя дома Яноша Каллу, который только что вернулся из-под Сегеда, где командовал отрядом моряков.

Мы разговорились. Я сказал Яношу, что от туберкулеза умер Тичка.

— Хороший был парень! Я у него многому научился, — сокрушался Янош.

Мы помолчали.

— Ну, как дела в Сегеде? — поинтересовался я.

— Вся контрреволюционная сволочь там собирается, — начал Янош и рассказал мне о положении на юге страны.

Еще в феврале правительство Карои послало в Сегед специальный отряд моряков под командованием старшего лейтенанта Нейбергера. Его, собственно говоря, для того и направили в Сегед, чтобы он разрушил местных коммунистов и сегедский гарнизон, большая часть которого вместе с рабочими города активно поддерживала Коммунистическую партию Венгрии. Самуэли, со своей стороны, послал в Сегед Каллу, чтобы он не допустил там разгула террора. Приезд Каллы в Сегед до некоторой степени связал руки Ней-

бергеру, тем более что в отряде Каллу сразу же полюбили.

Всего в отряде числилось девятьсот человек. Были среди них революционеры, сражавшиеся под Каттаро, где матросы австро-венгерского флота подняли мятеж против войны и бесчеловечного обращения. Этот мятеж жестоко подавил ставленник Габсбургов адмирал Хорти. Так вот, этот самый Хорти находился сейчас в Сегеде и собирал вокруг себя и под крылышком французских интервентов реакционных венгерских офицеров.

Разумеется, были в отряде и слабые, шаткие элементы. Более того, имелись даже авантюристы типа Нейбергера — тайные агенты Кунфи. Когда матросы отряда узнали, что им предстоит разоружить революционно настроенный сегедский гарнизон, во главе которого стояли революционеры, вернувшиеся из русского плена, они взбунтовались и хотели повернуть обратно, но Нейбергер терроризировал их.

Когда отряд прибыл в Сегед (об этом Яношу рассказал мой друг Янош Тинтер), сегедские господа и уже собравшееся там вокруг адмирала Миклоша Хорти контрреволюционное офицерское отребье встретили его неприветливо и попросили правительство Карои прислать им помощь для борьбы с «коммунистическим сбродом» и местными бунтовщиками — солдатами. Пинтер выступил против Нейбергера, который мечтал въехать в Сегед победителем под звуки оркестра и на белом коне.

Пинтер и его сторонники категорически запротестовали против разоружения местного гарнизона. Стало известно, что в тюрьму брошено много рабочих и солдат, поддерживавших компартию. Пинтер потребовал немедленно освободить арестованных и дать ему возможность побеседовать с солдатами, которых нужно было разоружить. Всех их собрали в казарме, где их должен был разоружить отряд моряков. Пинтер не согласился, и тогда Нейбергер начал колебаться. Видя колебания Нейбергера, местные господа сразу же побежали к командованию французских войск с просьбой вмешаться в события. Те же и без того готовились к этому, но с осторожностью.

Как раз в это время Калла прибыл в Сегед. Он договорился с Пинтером действовать сообща. Отряд моряков разместился в здании трибунала. Сразу же устано-

вили связь с местным гарнизоном. На случай возможного нападения контрреволюционеров здание трибунала было подготовлено для обороны. В это время из Будапешта пришло известие об объединении двух партий и провозглашении диктатуры пролетариата. Это известие еще больше воодушевило матросов. Нейбергера же эти новости окончательно сбили с толку. Он совсем потерял голову и не знал, что делать. Позже мы узнали, что тайно он держал городских богатеев в курсе всех наших приготовлений, а те сообщали обо всем французским интервентам, которые уже не скрывали своих захватнических планов. В городе находились войска численностью десять тысяч человек.

— Узнав об этом, мы, — рассказывал дальше Янош, — собрали своеобразный военный совет, на котором было решено установить тесную связь с местным гарнизоном, рабочими отрядами и революционными элементами в городе, привлечь их на свою сторону и сражаться до последнего. Янош, Пинтер и еще несколько надежных людей решили развернуть агитацию среди французских войск, призывая французов не стрелять в своих братьев по классу. Помимо этого был разработан план нападения на штаб французских интервентов.

К сожалению, ни один из планов выполнить не удалось, так как Нейбергер обо всем известил французов.

Французское командование тотчас же привело свои войска в состояние боевой готовности и окружило здание трибунала, казармы местного гарнизона и все места, где могли собираться коммунисты.

К сожалению, интервентам удалось разоружить революционно настроенных солдат местного гарнизона, после чего они предъявили матросам ультиматум и предложили сдаться.

Сдаться матросы наотрез отказались. Решили защищаться до последнего патрона. Три дня и три ночи они не смыкали глаз. Продуктов питания и воды у них фактически не было, а доставать продукты через кольцо французских войск не удавалось. Однако кое-что из продуктов все же попадало к ним: сегедские рабочие и работницы, рискуя жизнью, передавали матросам что могли.

В отряде началось брожение. Колеблющиеся и трусливые стали бежать из отряда, в котором осталось человек сто, но французы об этом еще ничего не знали.

Тогда командование отряда сообщило французскому командованию о том, что оно согласно на переговоры. На переговорах матросы согласились покинуть Сегед, но без сдачи оружия и с предоставлением возможности в полном составе вернуться в Будапешт. В случае если французское командование отклонит это требование, было решено сражаться до последнего патрона, до последнего человека.

Французы считали, что в отряде девятьсот человек. Приказа на открытое выступление против Венгерской Советской Республики у них еще не было, и они боялись столкновения с нами. Они приняли предложение командования отряда и пообещали без всяких осложнений выпустить его из города, считая, что после разоружения местного гарнизона и ареста наиболее активных коммунистов волнения в городе прекратятся.

С оружием в руках отряд вышел на улицу. У французов было тысяч пять—шесть солдат, вооруженных до зубов, в то время как в отряде осталась сотня изголодавшихся и уставших матросов. Когда отряд проходил по улицам, распевая «Марсельезу», французские солдаты приветственно махали морякам руками, не обращая внимания на своих офицеров, которые одергивали их.

Когда французский генерал увидел отряд, негодованию его не было конца: он и не предполагал, что матросов так мало.

Так в сопровождении французских войск отряд пришел на железнодорожную станцию. По пути следования отряда рабочие и студенты кричали «ура», доводя французских офицеров до бешенства.

Больше всего матросов радовало то, что французские солдаты были солидарны с ними.

Наконец отряд сел в поезд. На будапештском вокзале его встречали товарищ Кун и Самуэли.

ХИЩНИКИ

В штаб-квартиру Красной Армии, при которой находился военный трибунал, привезли старшего лейтенанта Балажа Кёнцен, одного из офицеров секейского полка. Его обвиняли в том, что он преднамеренно оголил перед противником участок фронта, и чешские войска, используя момент, вклинились в нашу оборону. К счастью,

соседние подразделения вовремя заметили грозившую опасность и быстро закрыли брешь, заставив противника отступить. Политкомиссар полка приказал немедленно арестовать Кёнцен и направить в штаб-квартиру в Гедёлле.

Я в то время исполнял обязанности председателя военного трибунала, так как моего предшественника перевели на другую работу. Членами трибунала были Дёбреи — чепельский металлист и Михай Конц — рабочий машиностроительного завода.

Заседание длилось недолго, поскольку факт говорил сам за себя: старший лейтенант сознательно предал интересы пролетариата и обнажил перед противником важный участок фронта. Свидетели дали очень важные показания. Я предложил приговорить предателя к расстрелу. Дёбреи и Конц были другого мнения.

— Достаточно будет, если мы посадим его в тюрьму, — сказал Дёбреи.

— Покажем, что мы не такие звери, какими были королевские судьи, — поддержал его Конц.

Я старался переубедить их, но когда дело дошло до голосования, и Конц и Дёбреи проголосовали за пожизненное тюремное заключение.

Приговор был утвержден главнокомандующим генералом Бёмом, и старшего лейтенанта отправили в Пешт.

На следующий день ко мне вся в слезах пришла жена осужденного и начала говорить, что у нее есть свидетели, которые смогут доказать невиновность ее мужа. Я отклонил ее просьбу пересмотреть дело. Успокоившись, женщина стала осаждать просьбами Дёбреи и Конца и, надо сказать, тронула их, так как они посоветовали ей обратиться к главнокомандующему. Выслушав женщину, генерал Бём приказал пересмотреть дело. Дело было пересмотрено, и старшего лейтенанта, несмотря на мои энергичные протесты, все же оправдали.

Я решил не оставлять этого и пошел к Штромфельду. Подробно изложил ему суть дела.

— И Бём утвердил такой приговор? — Удивлению Штромфельда не было границ.

— Да, утвердил.

Больше Штромфельд не сказал мне ни слова и склонился над картами. Лишь много позднее я понял, о чем он думал в тот момент...

Когда я пришел на железнодорожную станцию, туда только что прибыла дрезина из Пешта. Из дрезины вышел Бела Кун. Он быстро направился к специальному поезду, в котором размещался штаб.

Через несколько минут в штабе была объявлена тревога. Все воинские части приведены в боевую готовность. Поезд подготовлен к отправлению.

Скоро Кун, Бём и Штромфельд вышли из поезда. Бела Кун на дрезине отправился обратно в Пешт, а Штромфельд и Бём вернулись на свои места.

Поднятые по тревоге воинские части были посажены в быстро сформированный состав и отправлены в Пешт.

Мне приказали остаться на месте и обеспечить силой оставшихся воинских подразделений охрану штаб-квартиры. Когда я зашел к Штромфельду, чтобы получить последние указания, он сообщил мне, что в Будапеште вспыхнул контрреволюционный мятеж.

Обычно спокойное лицо начальника штаба на этот раз выглядело озабоченным.

Направляясь к своему поезду, который должен был вот-вот отправиться на фронт, Штромфельд тихо приказал мне:

— Из замка никого не выпускать и не впускать. Здание оцепить.

Я понял, что часть старых офицеров, работающих в генеральном штабе, замешана в путче и ждет удобного случая для выступления.

Когда мы с Штромфельдом шли по парку, он спросил:

— Скажите, как часто бывал в последнее время в спецпоезде Хаубрих?

Только теперь я понял, почему Хаубрих так часто навещал спецпоезд и несколько раз принимал гостей из Вены.

Заметив мое замешательство, Штромфельд, чтобы как-то смягчить свой вопрос, заметил:

— Ничего особенного не произошло. Просто на ум пришло.

С наступлением темноты я приказал оставшимся подразделениям охранять вокзал и замок.

Поздно ночью, когда я проходил по коридору замка, чтобы посмотреть, что делается кругом, вслед мне то справа, то слева открывались двери и выгляды-

вали головы офицеров. Стоило мне слегка повернуться, как головы тотчас же скрывались за дверьми. Я шел, до боли сжимая в кармане ручную гранату.

В Пеште гремели пушки и раздавался винтовочный треск.

О событиях, происшедших тогда в столице, я узнал позже — из рассказов Каллы и Пинтера, которые в то время служили на мониторе.

После возвращения из Сегеда их обоих назначили на революционное военное судно «Компо», предназначенное для несения сторожевой службы в нижнем течении Дуная. В июне они получили приказ на катере «Виза» спуститься в район Пакша и нести там службу. Там их и застало известие о контрреволюционном путче в столице.

Двадцать четвертого июня в городе началось нечто подозрительное. Богачи и землевладельцы собирались на улицах небольшими группами и что-то оживленно обсуждали. Бывшие королевские офицеры захватили в свои руки все мониторы, стоявшие на Обудайской пристани. Фактически в их руки попала почти вся Дунайская флотилия. Суда двинулись вниз по реке. Сначала никто не обратил на это внимания, так как все думали, что мониторы просто-напросто несут сторожевую службу. Суда тем временем подошли по реке к зданию, в котором размещалось правительство республики, и стали обстреливать его из пушек. Одновременно с этим по предварительному сговору с восставшими начали действовать офицеры и кадеты военной академии.

Путчисты послали телеграмму в Пакш, приказывая находящимся там морякам присоединиться к ним. Однако революционные моряки решили не отвечать на эту телеграмму. Суда были немедленно приведены в боевую готовность. На носу головного монитора установили красное знамя, на корме — национальный флаг. Моряки пытались установить связь с чепельской радиостанцией, находившейся в руках правительства республики, чтобы получать точную информацию о положении в Будапеште, но сделать этого им не удалось. Так моряки, находящиеся на судах в Пакше, оказались отрезанными от Будапешта.

В это время и в самом Пакше вспыхнул контрреволюционный мятеж, спровоцированный бывшими жандармами, некоторым из которых удалось не только проникнуть в ряды Красной охраны, но и занять ведущие позиции в городе. Только тогда моряки поняли, что произошло в городе. На судах была объявлена тревога. Матросы высадились на берег и, установив связь с преданными Красной Армии рабочими отрядами, разбили местных контрреволюционеров и арестовали руководителей мятежа.

Вскоре с большим трудом все же удалось установить связь по радио с правительственной радиостанцией на Чепеле. Произошел обоюдный обмен информацией. Как только в столице вспыхнул мятеж, рабочие Будапешта, солдаты столичного гарнизона и верные правительству отряды рабочей охраны как один встали на защиту советской власти. Обороной столицы руководил Тибор Самуэли. Красная артиллерия начала обстреливать мятежные мониторы. Коммунистическая партия развернула агитационную работу, и на защиту республики встали тысячи рабочих, их жен и детей. Восставшие офицеры были окружены в здании академии.

Контрреволюционный мятеж в столице и провинции был разгромлен в течение нескольких часов.

Правительственная радиостанция на Чепеле сообщила военным судам, находившимся в Пакше, что мониторы, захваченные контрреволюционерами, обратились в бегство и плывут на юг. И почти одновременно с этим в Пакш пришла телеграмма мятежников, в которой они требовали от революционных матросов немедленно присоединиться к ним. Матросы еще раз связались с Чепелем и сообщили, что получили от мятежников предложение. Позже стало известно, что мятеж проходил под непосредственным руководством лидера правого социал-демократического крыла Хаубриха.

Когда мониторы мятежников подошли к Пакшу, красным матросам было еще раз приказано присоединиться к ним под угрозой артиллерийского обстрела. Однако они категорически отказались примкнуть к мятежникам. Открыть огонь мятежники все же не осмелились, предпочитая податься дальше на юг. Тогда одно из пакшских судов выстрелило из пушки по головному монитору «Комаром», на котором находилось все

руководство мятежников. Снаряд угодил прямо в боевую рубку. Несколько судов мятежников открыли огонь по пакшским судам. Один из снарядов попал в сторожевой катер «Мунка», который пошел ко дну. На сторожевых катерах, оставшихся верными республике, появились раненые. Но мятежники не стали продолжать бой и, прибавив ходу, двинулись к югу.

Революционные суда вернулись в Будапешт, где были тепло встречены трудящимися и солдатами столицы, разгромившими контрреволюционный мятеж.

«РОДИТСЯ НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

Как только штабной поезд вернулся в штаб-квартиру, я попросил разрешения съездить в Пешт. Меня беспокоила судьба Шарики.

Поскольку в тот момент генерала Бёма в ставке не было, я решил обратиться со своей просьбой к Штромфельду.

Однако попасть к начальнику штаба было не так-то просто. Незадолго до прибытия штабного поезда в Гёделле привезли группу кадетов из академии Людовика. Выполняя данный мне приказ, я не разрешил впустить их в замок до приезда Штромфельда. Прибыв в штаб-квартиру, начальник штаба тотчас вызвал всю группу кадетов к себе и начал ругать их за то, что они, вместо того чтобы доказать свою преданность революции, предали интересы родины и народа, встав на сторону мятежников. Во время беседы выяснилось, что кадетов ввели в заблуждение офицеры академии.

Освободившись, Штромфельд выслушал меня. Я с трудом узнал его: так он был взволнован. Он долго рассказывал мне о замыслах контрреволюции, о предательстве Хаубриха, о заговоре в Сегеде и Вене.

— Республике грозит серьезная опасность со стороны не только внешней, но и внутренней контрреволюции, — продолжал, задумавшись, Штромфельд. — Политика... Политика... Нужно, оказывается, и в ней разбираться, — пробормотал он уже тише и, повернувшись ко мне, твердо сказал: — И все же мы разобьем врага! — Помолчал немного и добавил: — Если, конечно, мне дадут провести в жизнь мой план...

В Пешт я приехал на дрезине. Шарику нашел на квартире у Катика. Она лежала в постели. За ней ухаживала Катика. На лице у Шарики было какое-то странное выражение.

— Шарику ранена, — сказала Катика.

Из ее сбивчивого рассказа я узнал следующее. Как только в городе вспыхнул контрреволюционный мятеж, она побежала к Шарику, которая боялась оставаться в квартире одна. Окно нашей комнаты выходило на берег Дуная, откуда мониторы мятежников обстреливали правительственные учреждения. Первым вопросом Шарики был: «Где Янош? Что с ним?»

Катика стала успокаивать подругу. Узнав, что старые офицеры засели в академии и оттуда руководят мятежом, подруги решили пробраться туда, чтобы как-то помочь революционным солдатам, окружившим здание академии. К тому же в душе Шарики надеялась найти там и меня.

Когда подруги добрались до академии, бой был в самом разгаре. Шальная пуля попала Шарику в правую ногу. К счастью, рана оказалась не опасной.

— Как хорошо, что ты здесь! — шепнула мне Шарику. Лицо ее осветилось радостью. — Слышишь, как бьется сердце? — Она положила мою руку себе на грудь.

— Слышу, — чуть слышно ответил я.

— У нас будет ребенок...

«У меня будет ребенок! Родится новый человек! Новый человек!» — пело у меня в груди какое-то новое, радостное чувство.

ЗАПАДНЯ

После очередного заседания правительства республики я спешно возвращался в штаб-квартиру Красной Армии к Штрumpfельду.

В голове — неразбериха. Что же теперь будет? Перед глазами плыли лица выступавших. Казалось, я все еще слышал их выкрики.

— Необходимо остановить наступление интервентов на севере! — кричали одни.

— Ни в коем случае! Это будет конец! — протестовали другие.

— На нас ополчилась вся Европа! Мы не выдержим!

— Важно продержаться еще несколько недель, и тогда мы сможем соединиться с русской Красной Армией!

— Армия устала, выдохлась! Солдаты ходят в лохмотьях!

— Не забудьте, что воодушевление и решимость бойцов безграничны!

— Одни мы не выдержим! Крестьяне в армию не идут.

— Нужно дать им земли, и тогда они пойдут!

Как сейчас, помню пламенные речи Белы Куна, Самуэли, Ландлера, Отто Корвина, Саллаи.

— Нужно прислушаться к голосу Клемансо и немедленно освободить северные районы, после чего он отзовет румынские войска из Задунайского края! — наперебой кричали сторонники Гарамы, Пейделя и Хаубриха.

— Ложь! Это западня империалистов!

Все выступления перемешались у меня в голове. Правильно ли я понял? Прекратить борьбу? Остановить продвижение войск на севере и отойти назад? Подорвать в красноармейцах веру в правоту нашего дела, в нашу победу? Потерять все, что было завоевано с таким трудом? Поверить империалистам? Ложь! Ловушка! Разве можно согласиться с предложением Антанты и остановить наступление войск Красной Армии на севере? Нет! Этого нельзя допустить!

Вот он, результат объединения со сторонниками Гарамы!

Знает ли об этом решении Штромфельд? А что скажут солдаты Красной Армии, которые так уверены в том, что через несколько недель, а может быть, несколько дней они уже будут в Праге, пойдут дальше и смогут соединиться с Красной Армией русских? А ведь именно этого и боится Клемансо! Не случайны его обещания, связанные с прекращением наступления на севере и последующим отводом войск.

Что же теперь будет? Что будет?

В главной штаб-квартире — тревога и беспокойство.

Штромфельда я застал в его рабочем кабинете. Он сидел за столом словно мумия. Правая рука застыла на телефонной трубке.

Когда я вошел, он вздрогнул.

Я спросил его, известно ли ему решение правительства.

Штромфельд долго молчал, потом, не отрывая взгляда от карты, коротко бросил:

— Знаю. Только что сообщили.

Я молчал, боясь оторвать начальника генштаба от его нелегких мыслей.

— А что теперь? — наконец спросил я.

Штромфельд встал и заходил по кабинету. Подошел к окну.

— А теперь... я уйду в отставку! — Он помолчал. — В таких условиях я не возьму на себя ответственность...

Штромфельд повернулся. Казалось, передо мной стоял совсем другой человек: так он изменился. Он снова заходил по комнате.

— Значит, сторонники Хаубриха и Кунфи? — спросил он как бы про себя.

Я с удивлением посмотрел на него. Тогда я не понял смысла его слов, и только много позднее, когда он стал коммунистом и ушел в подполье, мне стало ясно, что он имел в виду. Позже Штромфельда арестовали и посадили в тюрьму, истязали там и, ничего не добившись, освободили, но и тогда он не согнулся, оставаясь до конца своей жизни настоящим коммунистом. Человек, который говорил, что он не занимается политикой и не разбирается в ней, а хочет лишь как солдат защищать свою родину от врагов, стал коммунистом в минуты, когда большинство сторонников Хаубриха протало решение о прекращении победоносного наступления на севере республики против интервентов.

— Повсюду враги. Снаружи — интервенты. Внутри — предатели и изменники. В Вене засел граф Бетлен и граф Шиграи; в Сегеде — Телеки и Хорти; здесь тоже господа и старые офицеры... За это нам придется расплачиваться не одно столетие кровью нашего народа, — бормотал он, рассказывая по комнате. Потом подошел к столу и стал собирать карты и бумаги.

Расстроенный, я попрощался с ним и вышел.

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ

Со Штромфельдом я еще раз встретился в Пеште. Тогда я жил уже дома. Меня назначили членом коллегии наркома по внутренним делам. Главной моей обя-

занностью было разъезжать по стране в составе экстренных комиссий, занимающихся чисткой государственных учреждений от контрреволюционных элементов и провокаторов, вынашивавших планы нового мятежа.

Борьбой с контрреволюцией внутри страны руководил Самуэли. Отто Корвин возглавил политический отдел наркомата внутренних дел; он продолжал линию Самуэли. Даже тогда, когда кольцо интервентов еще сильнее стиснуло республику, а внутри страны стали поднимать голову силы внутренней контрреволюции, он не терял мужества и говорил:

— От борьбы мы никогда не откажемся! — И его черные глаза светились уверенностью. Заместителем у Корвина был скромный, но очень смелый Имре Саллаи.

На место Штромфельда начальником генерального штаба назначили старого офицера Ференца Юлиера. Приняли предложение Клемансо, согласно которому успешное наступление на севере было остановлено, а войска стали перебрасываться на юг для занятия районов, которые румынские войска должны были оставить. Однако они и не собирались отходить. Обещание Клемансо оказалось лживым.

Граф Бетлен, прихватив меморандум крупных землевладельцев и банкиров, срочно выехал в Париж, требуя, чтобы Антанта ни в коем случае не отдавала коммунистам расположенные за Тисой районы Венгерской Советской Республики. В Сегеде плели нити контрреволюционного заговора граф Телеки и Дюла Баттьяни, Хорти и генерал Шоош. Их сообщники имелись и в рядах Красной Армии.

Начальник генерального штаба Юлиер посвятил их в план действий Красной Армии против румынских войск. План был доставлен в Сегед английским дипкурьером, после чего он стал известен англичанам, французам и румынам. Герберт Гувер, один из заправил американских монополий, в последующем президент, уже тогда под вывеской создания европейского блока вместе с англичанами и французами разрабатывал план голодной блокады, которой он хотел задушить молодую Венгерскую Советскую Республику. Ввоз продовольствия в Венгрию был строго-настрого запрещен. Империалисты клеветали на Советскую Россию, поте-

ряв после победы Великой Октябрьской революции концессии, приносящие им баснословные прибыли.

Международная реакция вместе с венгерским контрреволюционным отребьем готовилась нанести удар Венгерской Советской Республике, которая не могла одна устоять против всего Запада. Отказ от успешного наступления на севере страны и подрывная деятельность предателей, находившихся в Красной Армии, деморализовали ее.

Штрэмфельд ходил мрачнее тучи. Но, как и Корвин, сжав губы, говорил:

— Мы будем продолжать борьбу за свободу!

В большом зале, где сто тридцать четыре дня назад была провозглашена Венгерская Советская Республика, состоялось последнее заседание правительства республики вместе с членами Совета рабочих и крестьянских депутатов. Республика переживала тяжелые дни.

На заседании выступил Бела Кун, заявивший, что советское правительство уходит в отставку. Власть в стране переходит в руки правительства Пейдля.

Как только Кун кончил говорить, в зале воцарилась мертвая тишина.

— Превосходящим силам международной контрреволюции и ордам внутренней контрреволюции удалось задушить борьбу венгерского народа за свободу...

Кун не договорил и тяжело опустился на стоявший перед ним стул. Устало откинулся на спинку. Несколько мгновений было видно, как плечи его содрогаются от рыданий.

Потом он медленно поднял голову и, глядя куда-то вперед и немного вверх, твердым голосом сказал:

— Однако мы будем продолжать борьбу!

«Мы еще вернемся!» — можно было прочитать во взглядах сидевших в зале коммунистов.



ЗАГОВОРИЛА *память*





ПОГРОМ

Я и Ковачич стояли на углу улицы Ракоци и Большого кольца у Национального театра. Ковачича я знал давно. Мы с ним работали в редакции «Непсавы», вместе боролись с Гарами. Мы говорили о том, что же теперь будет. Наших старых друзей разбросало по белу свету, и даже посоветоваться было не с кем. Все считали, что правительство Пейдля не продержится и пяти-шести дней.

— Ну, а теперь ты куда? — задумчиво спросил меня Ковачич.

Я не знал, что ему ответить. Первой мыслью, которая невольно пришла мне в голову, была: «К Шарике! Домой!» Но вслух я сказал:

— Нужно уходить в подполье. — Помолчав, добавил: — Вот только с партией нельзя терять связи, да и с рабочими тоже...

— Кто знает, что может случиться завтра-послезавтра! — заметил Ковачич.

Однако события не ждали ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня. Они развернулись у нас на глазах.

Сначала я хотел сразу же поехать домой, чтобы поскорее увидеть Шарику, но, подумав, решил в первую очередь забежать в редакцию «Вёрёш катона»: нужно было уничтожить кое-какие документы, бумаги, припрятать в надежном месте пишущие машинки, выдать со-

трудникам последнюю зарплату и рассказать, чем мы станем заниматься в подполье. В городе осталось много коммунистов и среди них Тибор Самуэли и Отто Корвин. Бела Кун эмигрировал в Вену.

Не успели мы распрощаться, как со стороны площади Октогон до нас донеслись громкие крики и плач.

Мы переглянулись. Что бы это могло быть?

Мимо нас шли люди, прислушиваясь, как и мы, к крикам. Разодетые дамы с пренебрежением смотрели на бедно одетых прохожих.

Офицеры, нацепившие на себя старые королевские регалии, не спеша прохаживались, позванивая шпорами и галантно раскланиваясь с дамами.

— Целую ручки, почтенная госпожа! Какая сегодня прекрасная погода!

Вдали показалось несколько бегущих фигур — мужчины, женщины... Затем еще и еще. А вслед за ними бежали молодые люди, видимо из господских семей, размахивавшие палками, тростями. Они орали:

— Бей коммунистов!

— Раскрой голову этому старику! Это же еврей!

— Ай! Ай! Боже мой! Да это конец! — вырвался из общего воя пронзительный голос пожилой женщины, которую догоняли два дюжих парня.

Прошло еще мгновение, и я понял, что это не что иное, как дикий погром, организованный реакционерами.

Преследователи и их жертвы приближались к перекрестку. Уже без труда можно было различить испуганные лица бегущих мужчин и женщин, на которых равнодушно, а то и с издевкой смотрели дамы и господа, важно прохаживавшиеся по проспекту. Некоторые даже кричали:

— Бей, бей этого рыжего! По голове его, по голове! Еврей он!

— Дай этому коммунисту как следует!

Меня бросило в дрожь. Руки сжались в кулаки. Я готов был кинуться на первого попавшегося преследователя, но Ковачич вовремя удержал меня:

— Ты что, с ума сошел? Да они мгновенно разорвут тебя на части! Что ты можешь сделать один? Пошли скорее отсюда, а то и до нас доберутся. Это же погром!

«Погром! — билась у меня в мозгу навязчивая мысль. — Погром! Нужно как можно скорее перевести в безопасное место Шарiku. Один вид подобной картины может убить и ее, и ребенка».

Я бросился к остановке трамвая.

ПОДПОЛЬЕ

Когда я как угорелый вбежал в квартиру, Шарика подумала, что это погромщики ворвались в наш дом, и спряталась на кухне. Увидев меня, она бросилась мне на шею:

— Яни, ты? Значит, мы еще живем! — Она как-то особенно подчеркнула слово «живем».

Я понял, что Шарика имеет в виду не только себя и меня, но и нашего малыша, которого она носила под сердцем. Разумеется, я и словом не обмолвился о тех ужасах, свидетелем которых только что был. Думал, как бы получше объяснить ей, что нам придется на время расстаться: я должен был уйти в подполье.

— Скажи, что сегодня творится в городе? Почему избивают рабочих, красноармейцев, коммунистов? — словно отгадав мои нелегкие мысли, забросала она меня вопросами.

Не ответить на ее вопросы я не мог. Долго рассказывал, что происходит, объяснил, что сейчас коммунисты вынуждены на какое-то время уйти в подполье, чтобы сохранить силы для будущих боев. Намекнул, что нам придется расстаться.

— Нет! Нет! Только не это! Я без тебя умру! — Шарика зарыдала.

— Именно поэтому нам и нужно расстаться! Если нас поймают вместе, обоих убьют!

— А наш ребенок?

— Вот именно! Ради него, ради будущего нашего ребенка мы и должны расстаться. А сейчас ты должна переехать к Катике. Она тоже одна, и вам вдвоем будет не так страшно. Только жить вам придется не у нее и не здесь, а в другом месте.

— А ты? Где будешь ты?

— Я уйду в подполье. А сейчас быстро собирайся и пошли к Катике!

Собрав самое необходимое, мы быстро вышли из дому. Шли узкими переулками, обходя большие улицы, на которых все еще бушевали погромщики.

Со стороны Большого кольца доносились дикие крики: «Долой коммунистов! Смерть Беле Куну и народным комиссарам! Да здравствует венгерская национальная революция!»

— Пойдем! Пойдем скорее! — тащила меня Шарика.

Свернув на улицу Иштвана, мы чуть не наткнулись на группу бесчинствующих молодчиков, вооруженных палками. Хулиганы преследовали женщину с растрепанными волосами, которая убегала от них.

— Бей эту еврейскую змею! — орали парни.

Шарика застыла на месте. Побледнела.

— Дорогая моя, наберись терпения! Еще немного, и мы будем на месте! — успокаивал я ее.

Шарика схватила меня за руку, потащила за собой. Через несколько минут мы были у Катики.

Объяснять ей, что происходит в городе, было излишним, так как из окон квартиры она видела сцены одну ужаснее другой. Кальман уже ушел в подполье. Катика знала, что там он не один и в большей безопасности, чем дома, и потому чувствовала себя гораздо спокойнее.

— Ты сейчас отдохни немного, и мы пойдем на другую квартиру, где нам ничто не будет грозить, — успокаивала Катика Шарiku. — В Зугло у меня живет одна дальняя родственница. Детей у нее нет, только муж. Туда и пойдем.

«Что за родственница?» — хотел было спросить я, зная, что у родственников могут искать Кальмана, но не спросил, так как не хотел беспокоить расспросами Шарiku, да и времени у меня было в обрез.

Втроем мы довольно быстро добрались до Зугло. Тетушка и дядюшка Тополцаи очень обрадовались Катике, но, увидев меня и Шарiku, перепугались. Катика объяснила, кто мы такие, и лица хозяев прояснились. Приняли они нас радушно, как своих.

Я быстро попрощался, чтобы не расстраивать жену долгим расставанием.

— Обещай, что мы скоро встретимся, — твердила Шарика сквозь слезы.

— Да, да, конечно. Ты только береги себя и малы-

ша. А мы скоро вернемся. — С этими словами я вышел.

«Куда идти? — думал я. — Все друзья — коммунисты, к ним ни в коем случае нельзя. Придется искать прибежища где-то в другом месте».

Я не спеша шел по городскому саду. Вдруг вспомнил, что на улице Кирай в доме семьдесят восемь живет один мой знакомый по Ясварошу.

Свернул на площадь Лёвёлде. В центре ее стояла небольшая толпа. Держась подальше от толпы, я быстро пересек площадь, но оказалось, что все выходы с площади заняты конными солдатами в незнакомой мне форме. К хвостам некоторых лошадей были привязаны красные ленты.

— Интервенты! Румыны!

— Они заняли Пешт!

— Может, хоть эти не будут избивать людей на улицах?

— Так и ждите, не будут! Видите, в конских хвостах красные ленты?

— Вижу, а что это значит?

— А то, что они будут привязывать так коммунистов и волочить их через весь город.

— Один черт, что венгерский, что румынский господин!

Тем временем на середину площади выехал румынский офицер и на ломаном венгерском языке, пересыпанном ругательствами, спросил:

— Где здесь красные? Где коммунисты? Говорите!

Как выяснилось, румынские офицеры тоже охотились за коммунистами.

«Что же делать? Неужели так глупо попался?» — билась в голове тревожная мысль.

Вдруг в голову мне пришла смелая идея: выдать себя за корреспондента, собирающего материал для свежего номера газеты. Недолго думая, я достал из кармана блокнот, карандаш и направился к офицеру. Показав ему свой корреспондентский билет, начал объяснять, что мне поручено написать корреспонденцию о положении в столице. Я назвал себя доктором Загони. Даже не взглянув на мое удостоверение, офи-

цер представился мне и начал объяснять, что они ищут коммунистов. Написав в блокноте несколько слов, я раскланялся и пошел прочь.

— Напишите обо всем! Адмирал Хорти тоже придет из Сегеда! — Офицер сделал знак рукой, и меня пропустили через строй оцепления.

Я шел быстро. Сердце бешено билось. Значит, интервенты перешли в наступление. Вот уже и банда Хорти едет из-под Сегеда. Что же здесь будет?

Оглянувшись, я нырнул в подъезд дома. Своего знакомого я не застал. Дома была только его мать. Она сказала мне, что сын ее ушел в школу. Он учителем. Я коротко рассказал ей о цели своего прихода.

— Ну как же, как же, почему бы вам не переночевать здесь несколько дней! Люди должны помогать друг другу в беде. Взять хотя бы сына моей сестры, Оскара. Он в таком же положении, как и вы. В Цегледе был комендантом гарнизона. Вот и ему, если он в беду попадет, тоже помогут. Какое ужасное время! Да вы садитесь, пожалуйста, — засуетилась старушка. — Сын, наверное, сейчас придет. Знаете, в школе сейчас тоже такое творится, что...

Неожиданно в дверь постучали. Старушка перепугалась: у сына свой ключ, и он бы стучать не стал. Кто бы это мог быть? Она с испугом посмотрела на меня. Я знаками показал старушке, что выйду в кухню и, если это пришли за мной, незаметно выскользну в коридор, как только преследователи войдут в комнату. По ее лицу пробежала улыбка.

Не успел я выйти в кухню, как из-за двери послышался тихий мужской голос:

— Тетя Тери, это я, Оскар! Откройте!

— Оскар! Боже мой! — заволновалась старушка и стала открывать дверь. — А мы о тебе только что вспоминали.

Оскар Леваи проскользнул в дверь и закрыл ее за собой на ключ. Увидев меня, остолбенел.

Через секунду он уже рассказывал, что его разыскивают жандармы.

— В таком случае тебе не следовало приходить к родственникам, где тебя будут искать в первую очередь, — заметил я.

— Мне больше некуда идти!

— Мне тоже некуда было деться, и я скрывался в парке. Здесь я чужой, и меня тут никто не будет искать. А тебя у родственников быстро разыщут. Но если ты все же решил остаться здесь, то я уйду, а то сразу двоих сцапают...

Тетушка Тери молча слушала наш разговор, начиная понимать всю опасность своего положения, но сказать Оскару, чтобы он ушел, она не могла. Пришлось уйти мне. Я потихоньку вышел из дома и пошел в городской парк, где провел ночь.

На следующий день все контрреволюционные газеты пестрели сообщениями о том, что красный комендант Цегледа Оскар Леви арестован вчера вечером на квартире у своей тетки. Позже я узнал, что его вместе с Отто Корвином ужасно мучили, а в декабре казнили. Смерть они встретили мужественно.

Долгое время я вел жизнь беглеца, скитаясь по квартирам друзей и знакомых. Часто случалось так, что, задержись я у них на полчаса больше, меня бы схватила полиция. А однажды я спасся прямо-таки чудом.

Случилось это на улице Мурани, где я несколько дней жил у Шикоша, у которого снимал комнатку, еще учась в университете. Оказалось, что в этом доме кроме меня скрывалось еще несколько человек.

Через три дня на улице Мурани была устроена полицейская облава. Шикоши волновались не зря: если бы меня арестовали у них, им пришлось бы плохо. Я прибегнул к хитрости: попросил у хозяев железный крюк и кусок веревки и вылез через оконце в узкую трубу, где проходили провода. Забив крюк, привязал к нему один конец веревки, а на другом конце сделал петлю. Как только полицейские вошли на наш этаж, я затянул свободный конец на талии и спустился по колодцу вниз, в беспросветную темень. В таком положении я висел, пока в доме шел обыск. До меня доносились крики, звон разбитого стекла. К счастью, никому из полицейских не пришло в голову заглянуть в узкую каменную трубу. Как только полицейские ушли, я вылез из своего убежища, а вечером покинул гостеприимных Шикошей.

Все эти дни я думал о Шарике. А что, если меня схватят? Что тогда с ней будет?

Несколько дней я скрывался в мастерской графика Хенрика Майора. Хотя здесь меня меньше всего могли разыскивать, однако хозяин прятал меня от своих гостей. Те довольно громко говорили об ужасах, творящихся в городе, так что я был в курсе всех последних событий.

— Вот вам и цивилизация двадцатого века! — доносился до меня возмущенный мужской голос. — Какая мерзость! Какая гадость!

Я прислушивался к обрывкам разговора.

— Они с живых сдирают кожу... Выжигают арестованным глаза. Пытки инквизиторов бледнеют перед этим. Вбивают гвозди в головы... Издеваются не только над живыми, но и над мертвыми... И все это делают представители интеллигенции, сынки графов, банкиров, землевладельцев!.. Ужас!

Мне хотелось закричать, и, чтобы не сделать этого, я закрыл лицо руками.

Когда гости ушли, Майор вошел ко мне и, зная, что через стены все слышно, спросил:

— Слышал?

— Слышал.

— Кажется, теперь даже кое-кто из нашей интеллигенции начинает понимать, что творится в городе. Такого раньше не было. Я видел своими глазами. Несколько часов назад я вернулся из полиции, из здания на улице Зрини. Что там делают с коммунистами — уму непостижимо! Но даже это ничто в сравнении с теми ужасами, которые вытворяют банды Пронаи, Кохари и Кёнцей в казармах Келенфёльда, в отеле «Британия» и в окрестностях Кечкемета...

Меня словно в грудь ударило.

— Банда Кохари?!

— Ты что, знаешь его? — удивился Хенрик.

Я рассказал ему все, что знал о Кохари.

— Эта банда творит самое страшное. Смотри, Яношка, не попадись ему в руки. А то я как-то слышал в полиции, где Кохари довольно частый гость, как он интересовался, не поймали ли тебя. Он уверен, что ты в Пеште. Просил, как только тебя схватят, передать ему в руки, а уж он-то тебя не то что четвертует, а на восемь частей разрубит. Потом расспрашивал о какой-то женщине, интересовался, не схватили ли ее. Теперь я понимаю, о ком он спрашивал.

Меня бросало то в жар, то в холод.

— В надежном ли месте твоя жена? Если нужно, могу пристроить ее у своих друзей, — любезно предложил Хенрик.

Я с благодарностью посмотрел на друга.

Затем Хенрик рассказал мне, как жестоко пытали в центральной полиции Корвина Отто и его товарищей, но полицейским так и не удалось ничего узнать. «Напрасно вы пытаетесь вырвать у меня хоть слово о партии и коммунистах, — говорил Отто. — Я вам ничего не скажу. Запомните, господа: коммунистам смерть не страшна, они сильнее ее. Но учтите, ваш последний час близок!»

Мы оба молчали.

— Знаешь, что больше всего беспокоит полицейских и всю контру? Рабочие по-настоящему поняли, что они потеряли в этой борьбе. И сейчас рабочие говорят о том, что Бела Кун должен вернуться на родину. Я буду держать тебя в курсе всех событий.

У Хенрика я пробыл недолго, и вот почему. В соседней вилле жил старый отставной майор. Однако, несмотря на то что он был не у дел, старик все еще был полон честолюбивых планов — уничтожить всех красных мятежников. Стоя у окна мастерской за тюлевой занавеской, я часто видел, как майор прогуливался по саду, одетый в форму. Заложив по-наполеоновски два пальца за борт мундира, он важно расхаживал по аллейке, покручивая усики с таким видом, будто разрабатывал какой-то важный стратегический план.

Известие о формировании сегедского контрреволюционного правительства майор воспринял с воодушевлением. А когда офицерские отряды во главе с Хорти входили в Будапешт, майор расхаживал по улицам в мундире, украшенном орденами и медалями. Однако Хорти не взял руководство страны в свои руки, считая, что управлять ею по-прежнему должен королевский дом Габсбургов, хотя втайне причислял себя к числу самых важных вельмож Венгрии.

Как-то майор заметил меня, когда я стоял у окна. Как только Хенрик пришел домой, я хотел рассказать ему об этом, но он поведал мне о таком, что старый майор-сосед сразу вылетел у меня из головы.

— Знаешь, что случилось? — начал Хенрик. — Офицеры убили главного редактора «Непсавы» Белу Шомоди и редактора Белу Бачо!

Хенрик закурил и продолжал:

— А было это вот как. К зданию газеты подъехала большая крытая машина. Как только Шомоди и Бачо вышли из редакции, на них набросились несколько офицеров. Обоих затащили в машину, избив до полу-смерти. Машина умчалась в сторону Дуная. Что было потом, никто не знает. Сегодня в Дунае нашли трупы обоих редакторов. У Шомоди в голову был вбит большой ржавый гвоздь, а к шее проволокой привязан тяжелый камень. Голова Бачо разможена, на шее тоже камень...

Вот как Гарам и Пейдль отплатили им за сотрудничество. Теперь это видят даже самые наивные. В Союзе журналистов все оцепенели от ужаса. Такая участь ждет сегодня не только коммунистов или социал-демократов, но и каждого честного человека, стоит ему только открыть рот, чтобы сказать хоть слово о гуманности и цивилизации.

— Знаешь, Яношка, — продолжал Хенрик, замывшись, — будет лучше, если ты уйдешь отсюда, а то мне кажется, на твой след не сегодня-завтра нападет полиция. В газетах опять поместили твою фотографию с призывом выдать красного террориста. Вантуша арестовали. На австрийской границе схватили Самуэли и там же убили.

Когда я услышал о смерти Самуэли, едва сдержал слезы. Какого человека не стало! «Если мы не проявим решимости, нас сотрут в порошок!» — вспомнились мне слова Самуэли.

Я рассказал Хенрику о майоре-соседе.

— Куда ты пойдешь? — спросил он меня.

— Не знаю точно, но уходить нужно.

— На несколько дней можешь зайти к моей матери. Вряд ли кто-нибудь додумается искать тебя там. — И, немного помолчав, добавил: — Возможно, тебе помогут перебраться в Вену. Ты случайно не знаешь Натолку, капитана парохода, совершавшего рейды между Будапештом и Веной?

Я знал капитана как надежного человека.

— Я видел его сегодня, — продолжал Хенрик. — Он сказал мне, что ты скрываешься где-то в Пеште. Тебя

разыскивают товарищи по партии. Я не сказал ему, что ты у меня, но если разрешишь, сегодня же свяжусь с ним.

— Да, мне нужно немедленно исчезнуть отсюда.

В тот же вечер я перешел на квартиру к матери Хенрика. Когда на следующий день он пришел к себе в мастерскую, то нашел там все перевернутым вверх дном: ночью в квартире был обыск.

Когда Хенрик навестил меня, я первым делом спросил его, не нашел ли он Шарика.

— Пока не нашел, — ответил он, закуривая.

— Что же с ней стало?

— Говорят, жена Тома уехала в Вену...

Я ждал, что он скажет: «Вместе с Катикой в Вену уехала и Шарика».

Хенрик помолчал и закончил:

— ...И, по всей вероятности, вместе с ней уехала и твоя Шарика.

— Пошли! Пошли скорее! Мне нужно немедленно встретиться с Натолком!

Про себя я решил: как только стемнеет, пойду на квартиру, где жила Шарика, чтобы лично убедиться, что ее там нет.

Как только стемнело, я через городской сад, а потом по переулкам, минуя большие улицы, где на каждом шагу можно было столкнуться с полицейскими, вышел к дому, где жила Шарика, но войти в дом не решился.

Той же ночью Натолка заехал за мной на такси и отвез на пристань. Меня спрятали в трюме парохода, отправлявшегося в Вену. Натолка строго-настрого наказал мне не шевелиться до тех пор, пока пароход не пересечет границу.

Вместе со мною в трюме оказался господин Айтаи из Ясвароша, мой бывший классный руководитель в гимназии.

Теперь мы были не учитель и ученик, а товарищи по классовой борьбе. Оказалось, что Айтаи работал при республике начальником отдела в комиссариате народного образования. После подавления республики ушел в подполье, пока товарищи не усадили его на этот пароход. Айтаи рассказал мне, как хортистские офицеры убили Альфреда.

На рассвете пароход прибыл на пограничную пристань. Вверху слышались топот и крики: «Выходите все на берег! Проверка документов!» Затем раздались выстрелы. Потом стало тихо. Свободно вздохнули мы только тогда, когда пароход поплыл дальше. Мы были уже на территории Австрии и могли спокойно подняться на палубу. Оказывается, во время проверки документов хортистские офицеры искали коммунистов. Арестовали шесть человек. Их тут же расстреляли, а трупы бросили в Дунай.

ЭПИЛОГ

Осторожно подыскивая слова, Катика рассказала мне страшную историю.

Ее и Шарику арестовали во время облавы. Не проходило дня, чтобы румыны или хортистские офицеры не проводили очередной облавы на коммунистов. Обе женщины решили вырваться из этого кольца и перебраться в безопасное место. Но было уже поздно: в дверь громко забарабанили ногами.

«Хортисты ворвались в квартиру. Руководил этой «операцией» сам Кохари. Увидев Шарику, он обрадовался, но как только заметил, что она в положении, сразу же озверел. Нас втолкнули в грузовик и куда-то повезли. Поместили сначала в отдельные камеры. Все время били, пытали, требуя, чтобы мы сказали, где находятся наши мужья, но мы молчали. Потом нас поместили вместе и пытали уже на глазах друг у друга, но и это не дало никаких результатов. Как только над нами не издевались! Я боялась не столько за себя, сколько за Шарику, но чем я могла помочь ей? Кохари придумывал для нас самые страшные пытки. Я еще кое-как держалась на ногах, а Шарика, после того как ее били по животу, упала на пол и не поднималась. Во время одного из допросов в комнату, где нас пытали, ввели Қаллу. Он выглядел не лучше нас. Нас стали избивать у него на глазах, чтобы он сказал, где прячутся коммунисты, но он упорно молчал. Потом избивали его на наших глазах. Выбрав момент, Қалла схватил здоровенную дубинку, которой только что били его, и так хватил Кохари по голове, что тот, обливаясь кровью, свалился на пол. Второй удар он обрушил на

пытавшего его унтера, но в этот момент жандармский офицер несколько раз подряд выстрелил в Каллу, и тот скончался. Что было потом, я не помню, так как сама потеряла сознание.

В себя пришла уже в камере. Через маленькое оконце пробился солнечный луч. Шарика тоже очнулась. Она лежала на спине. Глаза ее были широко открыты. Пустым, ничего не выражающим взглядом смотрела она прямо перед собой в пустоту. Казалось, она ничего не понимала. Я упала перед ней на колени и разрыдалась. Шарика продолжала лежать неподвижно. Шевелились только руки, которыми она ощупывала свой живот и грудь. Я стала целовать ее, обнимать, чтобы хоть как-нибудь утешить.

Шарика не плакала и очень долго молчала. Все время смотрела на маленький солнечный лучик. Потом руки ее задвигались быстрее, словно она хотела взять на руки ребенка.

— Ах, Катика, посмотри сюда... Я должна перейти через этот мост... а ведь он разрушен... Внизу такая пропасть, что даже смотреть страшно... вода какая-то бежит... а над головой одни обломки...

Шарика зарыдала.

— Яни! Янош! Его бьют кнутом... Катика, его нужно спасти! Ой, падаю в пропасть!..

И она снова зарыдала. Потом приложила палец к губам и заговорила так тихо, что я с трудом разбирала слова.

— Тсс, тише!.. Не разбудите его! Он спит!.. Мой малыш спит! У него будет хорошая жизнь, Катика... За него мы и умираем. Но он будет жить... сильный, красивый... А сейчас он спит в своей кроватке в колыбельке... Тише, не разбуди его!..

А когда он проснется, мы положим его в луч этого прекрасного света... в луч новой жизни... У него будет счастливая жизнь... Ему не нужно будет бояться за свою жизнь... Катика, подними ребенка!..

И она снова сделала такое движение, словно тянулась за малышом, но сил у нее уже не было. От напряжения на лице у нее выступили багровые пятна, сменившиеся мертвенной бледностью. В лице ее не было ни кровинки, но глаза светились каким-то волшебным светом, каким могут светиться только глаза матери. Она вытянула руки вверх. Луч света осветил их...»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Заговорило оружие	5
Теленок, земля и наука	7
Я вхожу в большую жизнь	13
На рассвете и днем	18
В гимназии	22
Науки	26
Кальман Тома	30
Приезд Шарик	33
Первое Мая	36
На собственных крыльях	43
Тайное общество	48
Я начинаю рассчитывать с Кохари	55
Весна	60
Чикози	62
Четырехосный экипаж	70
Господин Папан	74
Кружок Галилея	83
Кровавые дни	91
Идущие на смерть	99
Встреча со смертью	106
Солдатские ботинки	112
Валево	116
Генерал от гуманизма	120
Янош и Милан	127
Отступление	130
Встреча	134
Заговорили люди	139
Огни	141
Я нахожу Шарик	150
Первый прорыв	153
Встреча с инвалидами	161
Земля	166
Пулеметная очередь	174
Рассвет	177

	<i>Стр.</i>
Необыкновенный человек	181
„Мои дорогие сынки“	191
Тревожные вести	194
Хищники	200
„Родится новый человек“	205
Западня	206
Мы еще вернемся!	208
Заговорила память	211
Погром	213
Подполье	215
Эпилог	224

Я. Дегваи

ОРУЖИЕ И ЛЮДИ

М., Воениздат, 1966, 228 с.

Редактор Афанасьев Г. Г.

Литературный редактор Канищева Т. И.

Художник Абикумов Н. А.

Технический редактор Репнина Л. Г.

Корректор Канторович Г. А.

Сдано в набор 30.11.65 г.

Подписано к печати 1.2.66 г.

Формат бумаги 84×108¹/₁₆—7¹/₈ печ. л.

11,685 усл. печ. л.—11,709 уч.-изд. л.

Тираж 65.000

Изд. № 10/7556.

Зак. 1214.

Цена ● коп.

1-я типография

Военного издательства Министерства обороны СССР

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3